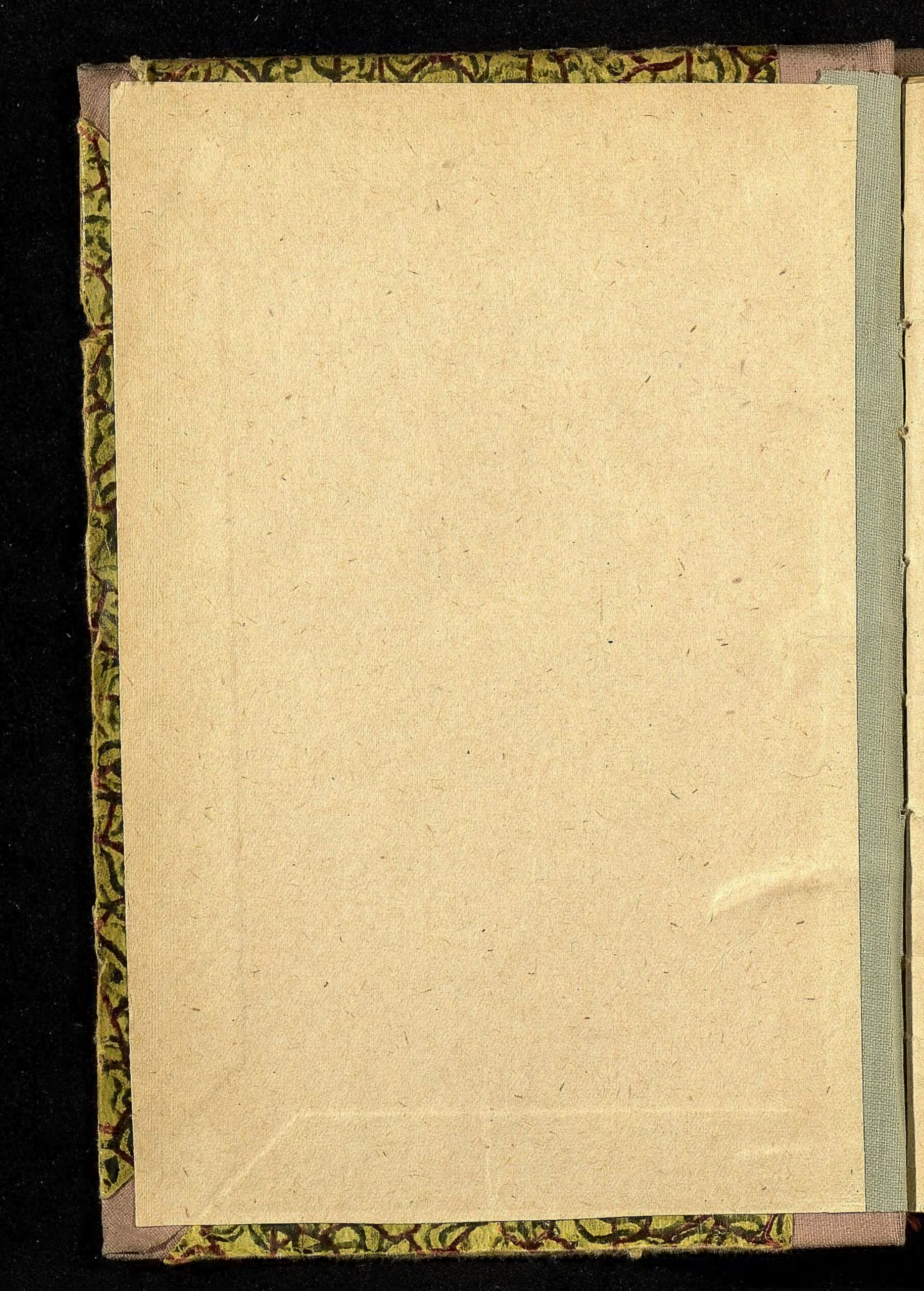
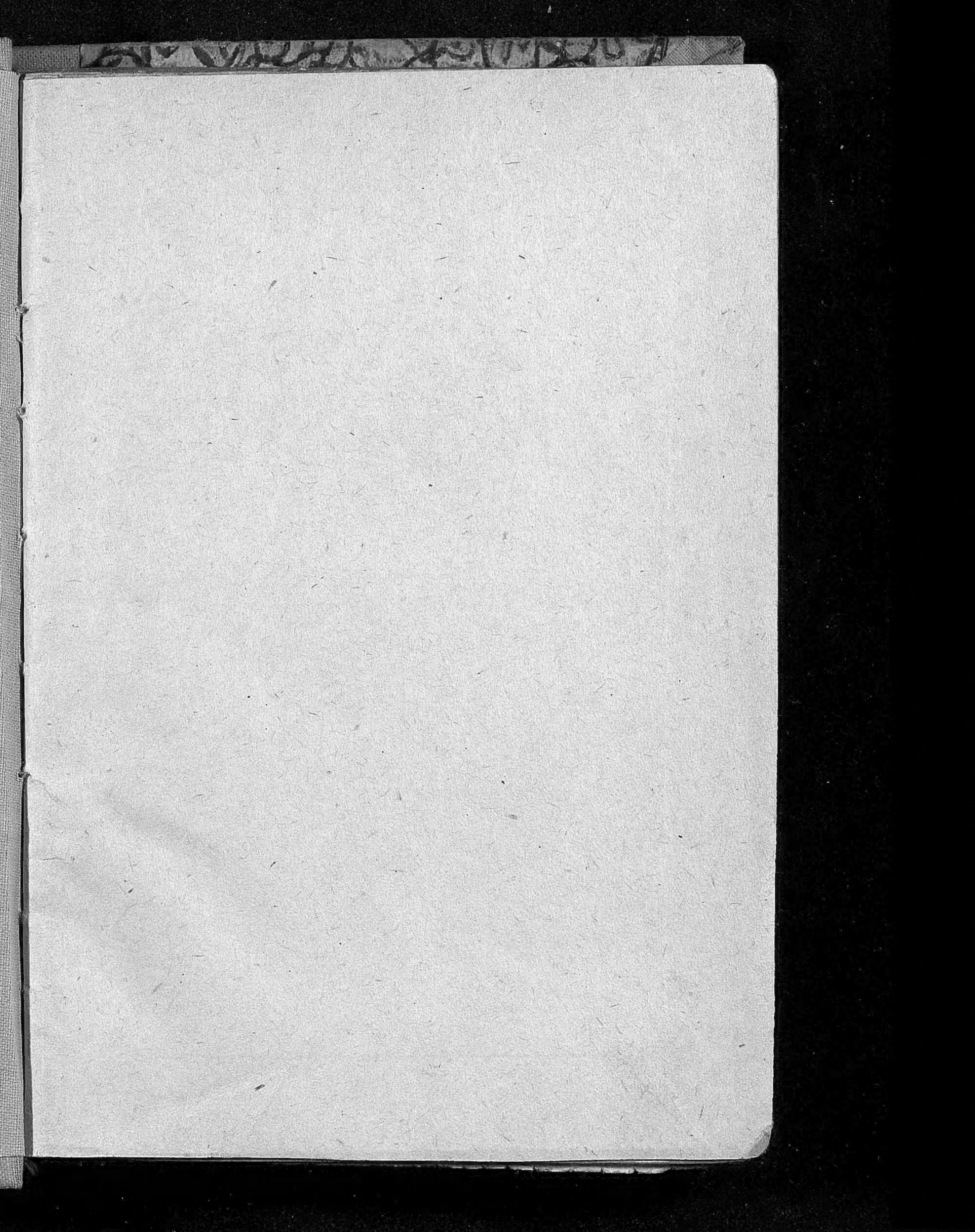
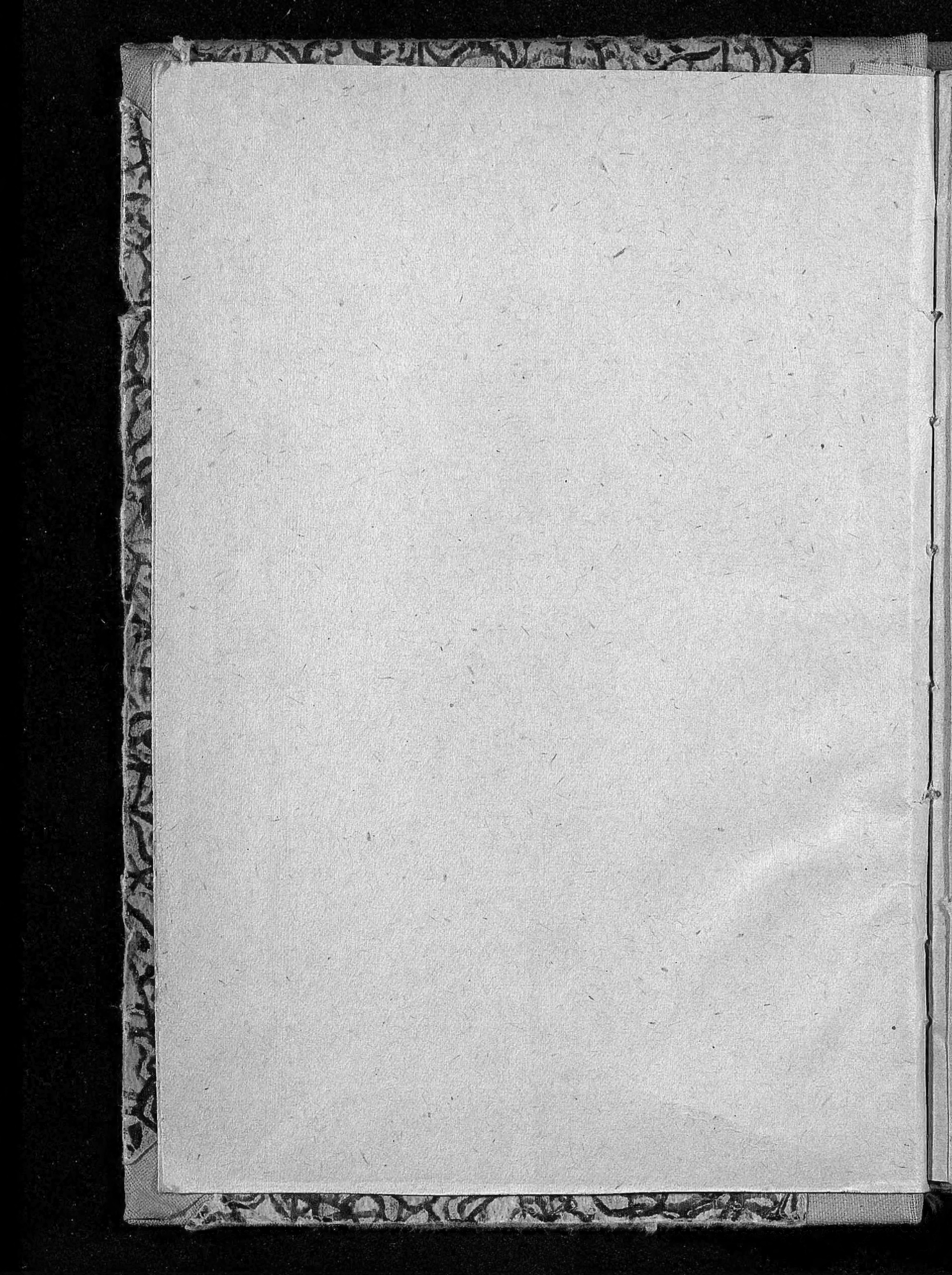




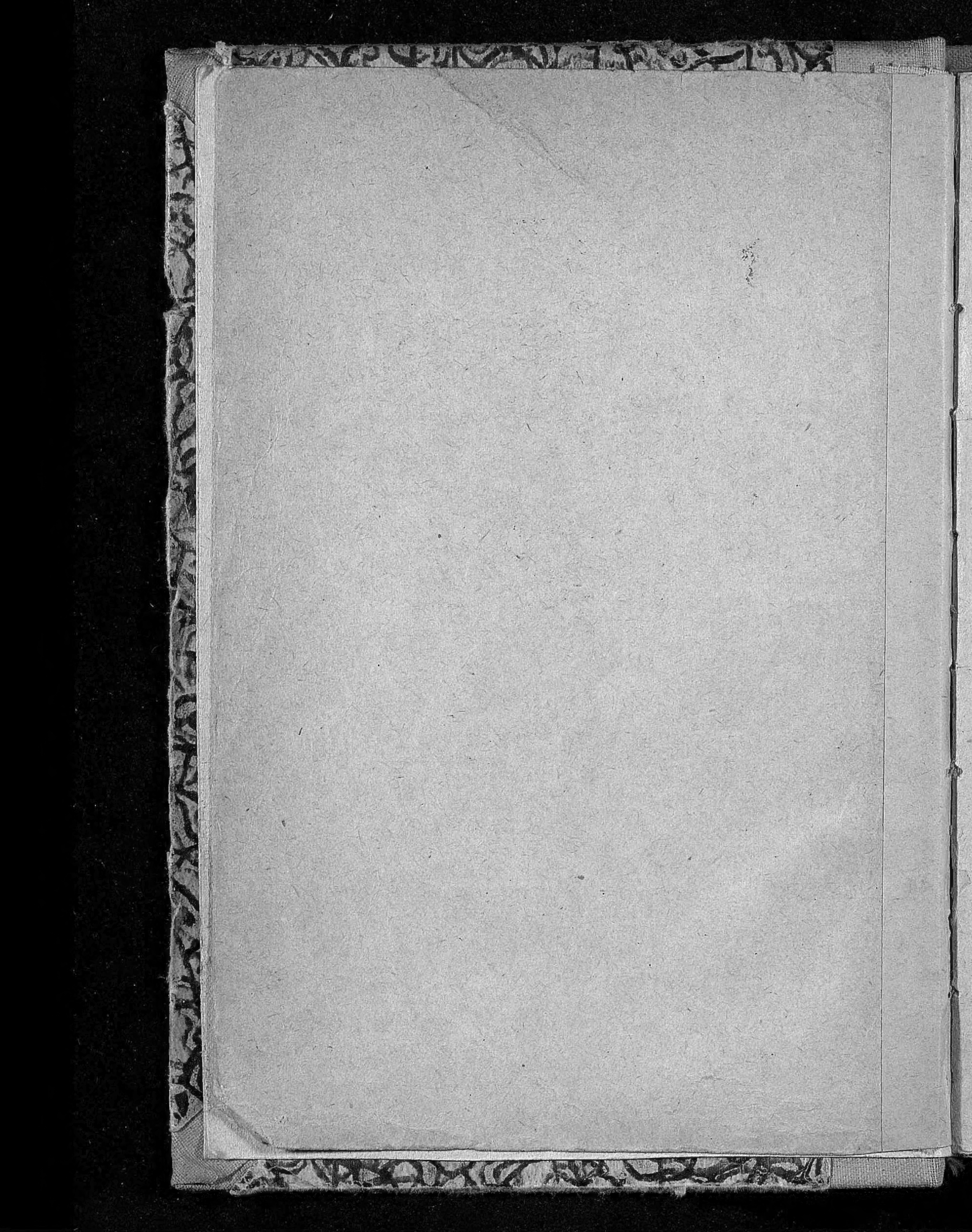




В ДЫМУ ВОЙНЫ

В. АРАМИЛЕВ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ • 1930



В. АРАМИЛЕВ

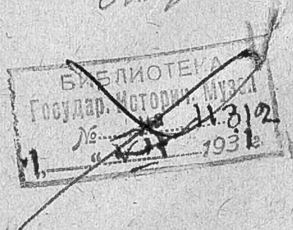
В ДЫМУ ВОЙНЫ

ЗАПИСКИ
ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩЕГОСЯ
(1914—1917 гг.)

■

19 ■ 30
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

СОДЕРЖАНИЕ



Типография Изд-ва „Молодая Гвардия". Ленинград, В. О., 5 лин., 28.
Зак. Изд-ва № 3677. Главлит № А-55215. Печатн. лист. 21¼. Тираж 5.100 экз.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над городом мирно роняет первые звонкие, ведреные дни переломный месяц — август.

По утрам, когда лилово розовеет заря и курятся голубые туманы, из серебряной листвы садов перезвоном далеких колокольчиков разливается бойкий птичий стрекот.

Но все это кажется таким далеким и ненужным...

Жизнь — заласканная, убаюканная буднями, крепко стреноженная косными формами вековых традиций — вдруг слетела с своих обтертых петель и закружилась в дикой свистопляске, в буйной водоверти, в ощутимом предчувствии чего-то невиданно-жуткого и таинственного.

— Война!..

Я растерялся и не знаю, что делать. О продолжении научных работ, для которых по поручению университета я прибыл в эту глушь, не может быть и речи.

Меня могут призвать в армию.

Я, вероятно, вполне «созрел» для того, чтобы убивать и быть убитым.

Граве, мой помощник и однокашник по университету, советует срочно ехать в Москву и хлопотать об отсрочке...

Но выехать не могу: у меня в нескольких районах разбросаны инструменты, аппараты и работают люди по

моим заданиям. Для ликвидации дела нужно не менее двух месяцев.

— Будем ждать, — говорю я Граве.

*

Я третий день в уездном городке. Глушь несусветная раскачалась, и новым обликом щеголяют кривые переулки.

Идет мобилизация запасных. Город в нервозе, в животной панике, в тучах пыли. На улицах днем и ночью лихорадочное движение.

Раздражающе-зычный густой стон, дикие выкрики, истерические визги и плач женщин. Лохматый неумолчный гомон потревоженного людского муравейника время от времени прорывается отборной матерщиной, смертным хрипом и воплем венской гармошки...

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья...

Площади и улицы городка напоминают пьяную ярмарку.

У канцелярии воинского начальника гудит серая, безликая, звонкоголосая толпа.

Люди какие-то грязные, нечесанные, заспанные, раздраженные. По всем улицам бродят неуклюжие мужики с большими котомками за плечами, горланят песни, дикие и заунывные.

Для мобилизованных нет квартир. Казармы забиты доотказа пят на соборной площади на земле, подложив под головы землистые торбы с сухарями.

Бабы с ребятишками ютятся тут же.

Соборная площадь похожа ночью на скифское становище... Горят огромные костры.

От площади, колыхаясь, тянется в бездонную голубень небес широкая сверкающая полоса огня.

Парусом вздуваются огневые снопы и, сгорая в ломком хрустальном воздухе ночи, дробятся в ослепительном каскаде золотисто-оранжевых брызг.

Ветер бросает пригоршни искр по всему городу. Домовладельцы — им ведь костров разводить не надо: они сидят по своим квартирам — боясь пожара, жаловались воинскому начальнику, просили «прекратить» костры.

Но костры горят...

Бабы победоносно ворочают золотые головни, жарят на кострах ядреную картошку, сушат детские пеленки...

В городке много пьяных. Винные и пивные лавки закрыты, но, очевидно, не казенкой единой пьяна Русь.

Появились шинкари. Продают запрещенное вино по неслыханно высоким ценам. Городские мещанки оживленно торгуют хмельной бражкой и пивом домашнего изготовления.

В каждом домике с крашеными расписными ставнями, геранями на окошках — распивочно и навынос.

Краснощекие, сытые, грудастые девки лущат на крылечках семечки, зазывают гостей выпить и закусить.

*

В городке каруселью кружатся слухи, фантастические и наивные.

Центральные газеты приходят с опозданием, расхватываются с бою.

Все оказались грамотными. Все вдруг захотели читать газеты. Все поголовно интересуются политикой, международным положением.

Запасные все еще без толку бродят по улицам.

На загорелых, угловатых, щетинистых, иконописных лицах какая-то тупая покорность и плохо скрытая злоба.

Мужику помешали жить, растревожили его, как медведя в берлоге. Он сердится, но пока еще сам толком не знает, на кого: на немцев, на царя, на бога, на отечество... Разобраться ему не легко, но я знаю и чувствую — он в конце концов разберется. И агенты тех, кто гонит его на войну — я ясно это вижу — боятся его. Отсюда — эти «уступки» мобилизованным, отступление от твердых «правил», которым должно «следовать» «вверенное» начальству население.

•

В деревне самый разгар полевых работ, а бабы, приехавшие в городок с мобилизованными мужьями, ни за что не хотят уезжать домой, дожидаются отправки.

Они, как тень, как жалкие, покорные собачонки, бродят за мужьями, голосят, причитают, молятся утром на восток, на церковь.

Горе сразило баб. Лица у баб красны и вспухли от слез. Когда слезы застилают глаза, бабы поднимают подолы панев и действуют ими как носовыми платками.

Вышли с Граве погулять.

На прогулке случайно познакомились с местным «поэтом» Львом Анчишкиным.

Он кончил юридический факультет, а пошел по литературной части. Патриот. Крепко и убежденно ругает немцев. Пламенно любит французов.

Читает в оригинале Бодлера, Мюссе, Гюго. Считает себя западником, передовым человеком, разносит рассейскую отсталость.

Показывая пальцем на всхлипывающих у воинского присутствия баб, он с жаром заговорил:

— Какое жалкое создание эта русская баба!.. Я вот смотрю на них из окна каждый день и думаю: не ошибка ли природы? Зачем, для чего они живут на свете? Ходят по городу и канючат вместе с ребятами. Кого это трогает? Плачущая баба «заслуживает не больше внимания, чем босой гусь», как выразился один из писателей Запада...

Тысячи лет живут — и никакого прогресса... При Рюрике, при Владимире, при Иване Грозном в юбку сморкались и сейчас вот, в двадцатом веке, в нее же сморкаются. И заметьте, не от бедности это, а от некультурности. Некультурность в крови русского народа...

— Эти вот Маланьи, Матрены — кариатиды, они переживут еще десятки войн и всяких революций, социальных и технических, а не сдвинутся со своей межи...

Через сто лет они так же будут лечить мочей трахому, наговором — сифилис, поить менструационной кровью своего любовника, во время ливня заворачивать юбку на голову и делать из нее зонтики. Нет, что вы ни говорите, а Лесков прав, утверждая, что «на русский народ хорошо смотреть только издали, когда он молится и верит».

И Достоевский прав, когда говорит что мы торопливые люди — слишком поспешили с нашими мужичками. Мы их ввели в моду, и целый отдел литературы несколько лет сряду носился с ними как с новооткрытой драгоцен-

ностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы... Русская деревня за всю тысячу лет дала нам лишь одного камаринского.

Какой-то «замечательный» русский поэт, увидев на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика».

А Достоевский ответил: «Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l'impératrice («букет императрицы»). Я всех русских мужиков отдам за одну Рашель». Здорово? Правда?

Так исходит бешеной слюной ненависти к народу «западник». Граве сочувственно кивает ему головой.

Я молча шагаю в ногу с поэтом. Спорить не хочется. Мысли другим заняты.

На фоне развертывающихся мировых событий «проклятый» вопрос о русском мужике, имеющий многовековую давность, кажется таким праздным, неуместным...

Простились мы дружески. Обменялись адресами. Обещал заходить ко мне вечерами.

*

Партию запасных отправляли в губернский город. Бабы задержали отправку поезда на два часа.

Они точно посходили с ума... После третьего звонка многие с причитанием бросились под колеса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подножки теплушек. Их невозможно было оторвать от мужей.

Это проводы...

На вокзал сбежалось все уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами...

Вызвали специальный наряд из местной конвойной команды.

Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как-будто их резали.

*

У меня сидит поэт Анчишкин. Случайно забрел брат хозяина — сектант-толстовец, цепкий и ловкий начетчик, Макар Афанасьевич Сюткин, с лопатообразной русой бородой.

Энергичное чисто русское лицо испорчено оспой. Голубые чуть-чуть раскосые глаза отливают фантастическо-азиатским упрямством.

Поражает меня феноменальной памятью. Великолепный знаток Толстого. Цитирует на память целые страницы...

Во всем остальном, что не относится к толстовству, круглый невежда. Безграмотен.

Но говорит проникновенно. Искренен безусловно.

Слушая его, невольно прощаешь ему безграмотность, узко сектантскую резкость и любуешься им...

Был три года в ссылке в Восточной Сибири, сидел за свои убеждения несколько раз в тюрьме, и, как видно, ничто не сломило его.

Отрицает все: Запад, культуру, церковь. Резко высказывается против войны. Сцепился с Анчишкиным.

Когда Сюткин вышел, Анчишкин дал ему свою оценку.

— Эти «бунтари» государству не опасны. Пошеборшат немного для виду и сядут на свой шесток. Все эти,

с позволения сказать, анархисты, доморощенные философы, начиненные яснополянской окрошкой, проповедники, искатели правды, справедливости, отрицатели, святоши и странники — просто юродствующие себялюбы, пройдохи или дегенераты с разжиженными, отравленными монгольским фатализмом мозгами.

— А вы, Граве, как смотрите на это?

Он топорщится и краснеет как девица.

— Я того же мнения...

— Вы за войну, стало быть? — спрашиваю я в упор.

Лиловые пятна ползут через щеки и виски к кончикам его ушей. Пунцово-красный от натуги, он с комичной торжественностью говорит:

— Я не пасынок своей родины... И в грозный час испытаний не встану в ряды ее изменников и предателей.

— Ой, как громко!

Граве, насупившись, молчит.

Анчишкин крепко жмет ему руку.

— Молодец! Вы хоть и немец по происхождению, но по духу истинно-русский человек.

— Давно известно, — говорю я, — что новообращенные католики щеголяют необычайной ревностностью и бывают католичнее самого папы. Генрих Гейне констатировал это даже в отношении евреев, переходящих в католичество. То же самое можно сказать про иностранцев, акклиматизировавшихся в чужой стране.

Анчишкин сосредоточенно сосет желтую японскую сигаретку и барабанит пальцами по покрышке стола.

Граве напружинился, готовый прыгнуть на меня. Щетина волос, коротко подстриженных ежиком, шевелится:

— Мы двести лет в России. Мой дет и прадед дышали русским воздухом, привольем российских степей... Какой я иностранец? И вообще это ослиное, кабацкое, эстрадное остроумие не делает вам чести...

*

Запасные разгромили две казенных винных лавки и «рейнсковой погреб» Магомета Тухваттуллина. Тухваттуллин бегал за погромщиками и на коленях умолял «пощадить его имущество». Плакал, целовал сапоги пьяных мужиков. Его отталкивали и не слушали.

Все «имущество» — вино — тут же на улице делили и распивали.

Полиция, повидимому, бессильная что-либо сделать для «восстановления порядка», притаилась по углам, не подает признаков жизни.

Солдаты отказались стрелять в погромщиков.

В «правительственных сферах» городка страшное смятение. Затребованы силы из губернии.

Воинский запретил учителям женской гимназии устройство платного спектакля в пользу воинов.

В городке пьянство невообразимое...

Как-будто люди предчувствуют кончину мира и поэтому торопятся все пропить.

То-и-дело вспыхивают кровопролитные драки.

В кривых пыльных переулках, укутанных «белой акацией», рябиной и черемухой, надсадно визжит гармошка.

После казенок запасные начали громить бражниц и пивоварок. В настороженной тишине ласкового летнего вечера отчетливо слышен звон разбиваемых стекол...

Пьяные, дерзкие и похабные выкрики...

У бражниц, которые запираются на засовы, посрывали с петель двери.

Гулянье...

«Начальство» гуляет, конечно, за закрытыми дверями, не массовым порядком. Что за этими закрытыми дверями и окнами творится, мне неизвестно. Я наблюдаю лишь улицу.

*

Три недели сижу в этой окуровской дыре и изнываю от безделья.

Москва не отвечает на мои запросы, и я прикован молчанием к месту.

В городке все та же мобилизационная горячка и российская бестолочь.

*

Перебрался в губернский город.

Живу в «Европейской гостинице».

Грязь в этой «Европе» далеко не европейская.

Неизменные полчища блох, клопов, тараканов, паутина в углах.

Цены за постой «по случаю войны» взвинчены вдвое. Кит Китычи, как им и полагается, ловят рыбку в мутной воде.

Откуда-то с'ехалась масса народа. Номеров нехватает. Хозяин от удовольствия потирает руки. Кому война, кому прибыль.

В губернском городе то же самое, что в миниатюре наблюдал я в уезде. Разница лишь количественная. В делах, в людях — во всем.

Запасные разгромили на окраинах винные лавки и публичные дома. «Губернские Ведомости» однако об этом

ни слова. Ведь нужно отмечать «патриотический порыв», а не «омрачать» картину.

Центральных газет невозможно достать. Чистильщики сапог превратились в газетных спекулянтов. Сапоги чистить никто не хочет.

Спекулянты скупают утром все газеты и пускают их по «повышенной» цене.

Бульварная дрянь «Копейка» идет за двадцать копеек.

Это ли не ажиотаж?

Читающая публика на вокзале чуть не дерется из-за газет.

Если война затянется лет на пять, газетчики наживут миллионы.

Они должны быть стопроцентными патриотами.

•

В городе всеобщее опьянение войной.

Купцы и чиновники под руководством местной власти инсценируют непрерывные «патриотические» манифестации.

Собрания. Речи. Проповеди. Тосты.

— Все как один!..

— За веру!..

— За царя!..

— За отечество!..

— За Русь!..

— За славянство!..

— За культуру!..

И, конечно, больше всего трясут патриотическими штанами те, которые никогда на фронт не поедут.

Опьянение войной разыгрывается со страниц охрипшей от желания угодить начальству казенной печати, с церковного амвона, со школьной кафедры, из мучных и мясных лабазов, с театральных подмостков, из среды местных земцев, которые, как говорят, всегда были «левее левого». Цена этой левизны постигается только сейчас, демонстрируется, так сказать, публично.

Все хотят воевать. Все эти слои жаждут итти «бить немца». Всем им кажется, что война несет им выгоды, и все говорят от имени «родины» и «народа».

Вечно влюбленные телеграфисты, писавшие в мирное время стихи в надсоновском духе — чуть-чуть похуже — теперь кричат о защите отечества. Кто будет писать стихи?

Неужели в других городах то же самое?

Как-то Москва? Петербург?

По газетам трудно судить. Врут, как министры иностранных дел, как свахи. Знаем мы эти хвастливые фельетоны. Сами живали в столицах...

*

Дождался...

Мой год призывается в армию.

Заходил в управление воинского начальника. Записали в список, обязали явкой через три дня.

В город прибывают новобранцы из уездов. Держатся новобранцы свободнее, чем запасные. У них больше ухарства, задора, веселости.

А может быть, это оттого, что они холостяки?

На улицах, на бульварах новобранцы при встрече с офицерами прикладывают ладонь правой руки к смя-

тым картузам, к самодельным войлочным шляпам — отдают честь.

Неуклюже становятся во фронт генералам и военным врачам, которых принимают за генералов.

Генералы благосклонно морщатся, отвечают на приветствия небрежным взмахом руки.

*

Витрины магазинов назойливо кричат о войне, выпячивая на первый план всякую мишуру военного обихода.

Жеманно улыбаясь и любуясь собой, разгуливают группы вновь испеченных офицеров в тщательно пригнанных гимнастерках поднебесно-свинцового цвета.

Местные гимназистки и епархиалки окидывают офицеров влюбленно-восторженными взглядами.

Новобранцы внесли в город явно ощутимое оживление. Катаются по главной улице в пролетках и дрожках. Воздух оглашают скабрезные песни, пиликают гармошки.

Лошади в мыле, в пене, в бубенцах...

Экипажи убраны алыми лентами, голубыми бумажными цветами. Может быть, алые ленты — символ крови?..

Прекрасные крутобокие жеребцы-полукровки вороной, серой и рыжей масти грациозно приплясывают под лихие переборы гармошек, под глухие взлеты бубна, под буйные выкрики пьяных седоков. Новобранцы пьяны не столько от алкогольных суррогатов, сколько от всероссийской суеты.

«Чистая» публика морщит нос от разгула «плебса» в центре города.

Гармошка, бубенцы, «Маруся отравилась» и «Последний нонешний денечек» — ведь это «не эстетично».

Но что же делать? Новобранцы — герои дня, защитники «веры», оплот «родины».

«Сам» грозный губернатор резрешил гармошку.

И «чистая» публика великодушно «прощает» и гармошки, и бубен, и все... Дамы бросают в экипажи новобранцев букетики жидких чахоточных оранжерейных цветов...

Мужчины приветствуют новобранцев дружескими возгласами.

Но, кажется, возгласы эти неискренни...

Цветы — дары данайцев...

*

В приемной воинского начальника давка и толкотня. Пахнет махоркой, брагой, потом, перегаром денатурированного спирта.

У дверей мобилизационного отдела колышется вереница голых бронзовых тел. Новобранцы.

Меня смерили, взвесили, справились о состоянии здоровья.

Зачислили в лейб-гвардию.

Через неделю отправка в Петербург.

Анчишкин мобилизован. Граве должен призываться в следующем году, но не выдержал и записался добровольцем.

Все трое — разные люди, с разным отношением к войне — едем вместе...

Спешно ликвидирую дела, распродаю вещи, любимые книги...

Москва попрежнему молчит. Действую в отношении казенного имущества на свой страх и риск.

*

Едем в Питер. Шестьсот новобранцев. Специальный поезд — двадцать теплушек. В вагон натолкали по тридцать душ. Тесно. Шумно. Пахнет специфическим «русским» духом.

На вокзале тягостная сцена прощания. У каждого вагона голосят бабы — матери, жены, сестры...

Никаких патриотических восторгов не видать...

Огромная толпа в сумерках угасающего дня кажется черной и безликой массой.

Все ближе и ближе подбирается она к вагонам, тоненькими струйками прорывая заградительную цепь патрулей.

Пьяненький мещанин в длинной голубой рубахе и в плисовых шароварах навыпуск, кружась около вагонов, лезет к каждому целоваться и высоким голосом выкрикивает:

— Проздравляю! Проздравляю! Уж вы там, ребятишки, тово, не подгадьте... Покажите немчуре кузькину мать.

Вой сливается в истерические выкрики.

Последний звонок... Последние напутствия, утешения, вздохи, ахи, проклятья, благословения, советы, просьбы, обещания, клятвы...

Толчок, царапающий нервы, лязг буферов...

Нам машут с платформы платками, полушалками.

Сдвинулись. Жалобно гукает и стонет паровозная глотка. Паровоз жарко задышал дымом.

Тысячи глаз, мокрых от слез и напряженного любопытства, тянутся к нашим вагонам. Толпа пришла в движение, смяла патрули и бросилась вслед за убегающими вагонами...

Медленно уплываем от дебаркадера на запад, в ласкающую мягкую синь августовского вечера.

Город, утопающий в складках тумана, мигает нам сотнями красноватых языков.

Отчаянно рыдающие, до бесчувствия однообразные переборы гармошек в каждом вагоне.

Это новобранцы заливают тоску.

Волны звуков сливаются в кошачью симфонию. С непривычки хочется удариться головой об стенку вагона и заснуть...

*

Едем, едем, едем.

Неподвижно стоят по сторонам ветвистые пирамидальные ели, пихты и сосны. Тяжелые иглистые прутья ядрено - зеленеющих деревьев четко вырисовываются в плотной голубизне нависшего над лесами неба.

Рассекая прозрачно-чистый и звонкий, как хрусталь, лесной воздух и ломая лязгом скрипучих вагонов чуткую тишину подкрадывающиейся с севера осени, скользим по лоснящимся стальным путям вперед и вперед.

Долго стоим на узловых станциях, на раз'ездах.

Скорость — двести километров в сутки.

В каждом вагоне солдат с винтовкой.

Это — наши «дядьки».

Точное назначение дядек не ясно ни нам, ни им. В общем они должны нас охранять. От кого? От чего?

Но само собой разумеется, что они должны блюсти «порядок».

В головном вагоне едет ядро охраны из пятнадцати человек под командой старшего унтер-офицера. Наши дядьки подчинены ему.

В каждом вагоне множество туесов, боченков с пивом и бражкой...

Пьянка. Веселье.

— Веселись, душа и тело...

— Отечеству защищать едем!..

Песни — озорные, лихие, буйные. Пляс. Пузырится, хрипит гармонь...

На каждой остановке все вываливаются из нутра вагонов на платформу.

Бесстыдно пристают к бабам, к девушкам, продающим ягоды, молоко...

На каждой остановке — драки.

Вагон на вагон. Стенка на стенку.

— У-р-р-ааа!!.

Заводские на деревенских.

Уезд на уезд.

— У-рр-р-ааа!!!.

В Вологде догнали эшелон новобранцев-вятичей, отправляющихся в Москву в пехоту.

Через пять минут разыгрался форменный бой. Первое «крещение».

Вятичи в драке виртуозы. Пехота одолела императорскую гвардию.

С диким гиканьем, с соловьиным разбойным посвистом гоняли вятичи наших под вагонами, обстреливая щебнем и увесистыми галями.

Некоторых угнали в поле за станцию, ловили поодиночке и избивали.

Человек двадцать получили серьезные ранения: головы и лица в синяках, в крови.

Одному распороли финкой живот.

Дядьки наши не вмешиваются ни во что. Им выгоднее, чтоб новобранцы скоротали дорогу за такими «занятиями», чем задумывались над тем, кто, куда и зачем их угоняет.

*

Когда драка приняла особо значительные размеры, грозившие целости «государева имущества», каким являются сейчас новобранцы, начальник конвоя вызвал для ликвидации драки городскую пожарную команду. Старинный русский способ. Помогает между прочим.

Я впервые за всю жизнь наблюдал бравых пожарных в роли водворителей общественного порядка.

Армейскую пехоту с грехом пополам утихомирили, усадили в вагоны и протолкнули на московскую линию. Нашу партию собирали два часа.

Двенадцать душ так и не нашли. Пропали без вести. Как в настоящем «сражении».

Дядьки и вагонные старосты сбились с ног. Начальник конвоя, топорща прокопченные трубкой рыжие усы, грозил нам с подножки своего вагона:

— Хулиганы!.. Драчуны!.. Подождите! Дай бог только добраться до Петербурга. Там вам покажут. Возьмут голубчиков в оборот. Всю дурь повытрясут.

Но это говорится «для проформы». Все начальство понимает, что этим способом навобранцы изливают свою

тоску и что, не будь этого, они начали бы громить что-нибудь более важное с точки зрения «государственных устоев».

*

В вагоны натаскали груды щебня и песку. Во время движения поезда настежь открыты обе двери теплушки. И горе прохожему, попадающему в «сферу досягаемости».

Его обстреливают градом камней.

Когда камень удачно попадает в висок или в темя прохожего, из вагонов несется одобрительный хохот. Рукоплескания приветствуют меткого стрелка.

А там, внизу, под насыпью, оглушенный человек, отирая платком выступающую из раны кровь, грозит нам в бессильной злобе кулаками.

— Жулье!.. Чингис-ханы!..

Кое-где в вагоны затащили девок и держат на положении арестованных.

Едем. Едем. Едем.

Отмечаем слезами и кровью каждый шаг.

Кровавая дорога и нерадостная...

*

Какая масса леса!

На протяжении тысячеверстного пути по обеим сторонам плотной стеной стоят нетронутые хвойные и лиственные массивы.

Изредка мелькают желто-бурые волнистые просторы полей, маленькие деревушки и села с деревянными церковками и запечатанными по случаю войны «казенками».

Рядом с хорошими сосновыми избами под железом ютятся жалкие покосившиеся хибарки на курьих ножках с бараньей брюшиной в окнах вместо стекол. Это — у самой «чугунки», а что же дальше?

Дальше патриархальный быт, кремень, трут, лучина, лешие, водяные, домовые, ведьмы, колдуны, знахарки, громовые стрелы, килы, почечуй, бог, Илья-пророк, разъезжающий на колеснице по небесной мостовой.

Культура дальше чугунки не идет. И вот эту многоликую, серую, вымирающую от дикости, темноты и налогов деревню взнуздали, пришпорили, вздернули на дыбы и сказали:

— Иди и бей немца, ибо немец есть враг мировой культуры...

Пермяки и вятичи, оторванные от обычного труда, призваны защищать не только веру, царя и отечество, но и «мировую культуру».

*

На станции «Уклейка» разгромили буфет, разграбили все до последнего кусочка.

Теперь громят на каждой станции.

— Кровь проливать едем!

— Чего там? Бей! Бей!

И бьют. Разносят в щепы буфеты, ларьки, лавчонки. лотки.

Все, как водой, смоет через десять минут после нашего приезда на станцию.

Буфетчики в ужасе разбегаются.

— Кровь проливать едем, а вы, паразиты, наживаетесь тут!

— Бей, не жалей! Бей!

— Синя дудка моя, ух-я...

— Веселуха моя, ух-я!..

У дядьки нашего вагона, Чеботаренко, длинные пушистые усы и маленькие миндальные глазки.

Грустно качая бритой головой, он спрашивает меня:

— Що же такое робится на билом свити? Що робится? Очумели хлопци зовсим.

Шалости новобранцев по сравнению с тем, что готовит начальство на фронте — микроскопическая капля в море.

— А ну, хлопци, давайте-ка лучше солдатские песни спивать, — суетится Чеботаренко, сбивая в тесный круг непокорную толпу.

— Давай! Давай!

И смешно балансируя негибким телом, по-птичьи взмахивая руками, дядька заводит:

— Пишет, пишет царь Германский,
Пишет русскому царю... гу-гу-гу...

Неожиданно ставшая дисциплинированной людская масса стройно подхватывает:

— Всю Россию завоюю,
И тебя в полон возьму... гу-гу-гу...

Хорошо поют новобранцы. Дядькины глаза-миндалинки увлажняются. Он весь в движении, в экстазе творчества. Дирижирует и руками, и ногами, и губами, и головой.

Он доволен, дядька. Еще бы: дисциплинирует новобранцев патриотической песней...

*

У Анчишкина раздвоение. Как западник, как человек высокой культуры, он должен проклинать новобранцев за их грубость, за грабеж. Как патриот, он должен им все прощать, быть оптимистом, ибо это — живая сила страны, опора, народ-богоносец, который...

И он, часами не вылезая из своего угла на верхней полке, благоразумно закрывает на все глаза. Прячет совесть в пушистых ресницах и молчит, молчит...

Граве, видимо, во власти тех же противоречий. Когда я указываю на разгром буфетов, он сердито отмахивается руками и, ворочая синими жолудями глаз, бормочет что-то невнятное о пагубных последствиях татарского ига, которое, как известно...

Поля кое-где проросли грибами ржавых суслонов. Над короткой густой щетиной ячменей и буро-зеленых овсов сутулятся белые рубахи мужиков, пестрые кофты девок и баб.

Страда.

И вглядываясь из-под руки в серебровое сверкание отполированных соломой серпов, Анчишкин садится на своего любимого конька.

— Запад и мы. Там вот машины, а здесь дубина. Там «Осборн Колумбия», «Эльворти». Здесь — серп, лукошко, горбушка-коса, самоделки-грабли. Ох, как далеко обогнал нас Запад!

*

Каменный двор, нагретый осенним солнцем, принял эшелон в свое пыльное чрево. Выстроили в две шеренги. Явился старенький генерал в грязных лампасах. «Увещевать» начал.

Говорит о родине, о долге, о чести гвардейского мундира, который нам предстоит носить...

Говорит долго, маятно. Слушать его нудную казенную речь тяжело. Все, что говорит он, известно из газет. Новобранцы слушают, понуро опустив головы вниз. Фетишизм генеральских эполет магически давит на их психику, но сухие слова генерала летят мимо, не доходя до сердца, не проникая в сознание.

Дневной зной висит в воздухе, сгущенный запахом земли, пересохших трав и паровозной вонючей гари.

Каким-то тяжелым прессом давит грудь, выжимая из тела испарины пота. Часто и беспокойно колотится сердце.

Хочется новых, освежающих, великих слов. А он все говорит так тускло, безграмотно и неубедительно.

— Поняли, братцы? — кричит генерал. И, не дожидаясь ответа, торопливо вытирает платком вспотевшее красное лицо.

Робкий нестройный гул пробегает по сомкнутым рядам новобранцев.

Большинство натужно молчит.

Генерал окидывает всех взглядом, сверкающим тупой яростью. Изменившимся голосом кричит резко и грубо:

— Сопляки! Мальчишки! Сволочи! Щенки! Буфеты грабить! Защитники родины!

В потоке ругани генерал странно преображается. Перед этим он казался неловким актером в чужой роли, играющим с первой репетиции под суфлера.

Его отборную ругань слушали гораздо внимательнее, чем «научные» рассуждения о долге и совести.

Все знают, что ругается он «для порядка»...

После генерала вынырнул откуда-то священник с аналоем. Дядьки скомандовали снять шапки, подогнали ближе к аналою.

Молились с обнаженными головами под открытым небом.

Просили бога о «даровании побед российскому православному воинству», о здоровьи «царствующего дома», о «ненавидящих и обидящих нас».

По окончании молебна священник говорил проповедь. Говорил то же самое, что и генерал, только иными словами. Кропил нас святой водой и ласково просил не громить в дороге буфетов и колбасных лавочек. Умолял не поддаваться козням дьявола...

*

Ни увещания генерала, ни назидания священника впрок не пошли. На первой же станции опять разгромили буфет, проломили голову буфетчику.

— Уж везли бы хоть скорей, прости господи! — вздыхает дядька соседнего вагона, зашедший в гости к нашему Чеботаренке. — Беда чистая с ними, такие галманы.

— Ведь нас порасстрелять могут за это дело. Им что? Они новобранцы, присяги не принимали, стало быть, с них и взять-то нечего. А кто в ответе? Конечно, дядьки. Зачем, скажут, смотрели? Почему допустили? Верно говорю?

Чеботаренко утвердительно кивает головой.

— Я тоже кажу так.

— А ты попробуй, «не допусти» их. Попробуй!

Чеботаренко молчит, попыхивая трубкою, прячет хитрую усмешку в глубине миндальных глаз.

— Пойтить и нам, нешто, на боковую? — говорит Чеботаренко своему коллеге, выбивая об пол вагона трубку.

— Пойдем-ка и то, — равнодушно бросает тот и свешивает ноги за борт вагона.

С могучим храпом останавливается паровоз у маленькой станции, затерявшейся в дубровах.

*

Чем ближе под'езжаем к Петербургу, тем сильнее неистовствует и озорует эшелон.

Бьют стаканы на телеграфных столбах, стекла в сторожевых будках и вокзалах, обрывают провода.

В нашем вагоне появились ящики с продуктами, картинки, окорока, связки колбас, баранок. Трофеи.

На одной немудрой станции встретили чуть не в штыки. О наших художествах была дана телеграмма местному начальнику гарнизона. Он выслал на вокзал дежурную полуроту в полной боевой готовности.

Не знаю, какой наказ был дан дежурной полуроте, но она вела себя довольно агрессивно.

Кое-кому из наших забияк пришлось познакомиться с прикладом русской трехлинейной винтовки.

Холодная вода и приклад почти равноценны. Все присмирели и до самого отхода поезда не выходили на перрон. Архангелы с винтовками разгуливали под бортами вагонов, ехидно улыбаясь и многозначительно подмигивая.

Только после третьего звонка из вагонов полетели камни, цветистая ругань, горсти песку.

Наши мстили полуроте за «обиды».

*

Петербург.

Все как-то сами по себе стушевались и вошли в «норму».

Кончились шутки, баловство.

Гудели, как пчелы в цветнике, но было в этом гудении что-то новое.

Коноводы драк поблекли, притихли.

Может быть, это город-гигант придавил всех своим волнующим величием?

Пригнали в казарменный двор.

Плотным бурым гримом ложилась на влажные размягченные лица городская пыль. Пахло асфальтом, помоями, жженным камнем и гнилью.

Выстроили в две шеренги и продержали неподвижно несколько часов. Ждали генерала.

Для начала недурно.

Явилась комиссия: генералы, полковники, обер-офицеры.

Один из членов комиссии, вооруженный мелом, писал на груди каждого новобранца какую-нибудь цифру — номера полков.

Началась разбивка по запасным батальонам.

Встали рядом я, Граве, Анчишкин.

Я был в старенькой любимой студенческой тужурке. Генерал задержался около меня, раскуривая папиросу.

— Студент? Какого факультета?

Я ответил.

Молоденький поручик вывел мелом на правом боку моей тужурки затейливую семерку. В раздумьи остановился перед Граве, жирно черкнул и ему и Анчишкину по жирной семерке,

Комиссия двинулась дальше. Моему соседу слева поставили шестерку. Он шопотом выругался.

— В третью гвардейскую дивизию меня ахнули!

— Чем плохо? — спросил я, поворачивая к нему голову.

— Дисциплина каторжная; у меня тамотка брат служит, знаю.

*

Неприветливо встретила нас казарма. «Государево войско», а житьишко немудрое.

Грязь, темнота, теснота. Натолкали, как снопов в овин.

Нары в три яруса. На верхних душно, не продыхнешь, на средних и нижних глаз раскрыть нельзя: мусор сверху сыплется.

Стены казармы «живописно» размалеваны.

В неряшливых линиях рисунков и орнаментов чувствуется опытная рука суздальского художника.

Содержание картин любопытно.

Изображена в лицах «история государства российского». На первом месте, конечно, подвиги армии, содействующие росту и укреплению «родины».

Под картинами выведены изящной славянской вязью пояснительные тексты.

Русские везде побеждают. На какую стену ни взглянешь — всюду постыдное бегство неприятеля.

Бегут монголы, татары, кавказцы, англичане, немцы, французы, турки. Больше всего досталось от суздальца туркам. С турками у русских царей исконная вражда. Воевали много раз.

Беглый осмотр казарменных стен приводит к заключению, что история российской армии состоит из одних подвигов.

*

Начальство сразу взяло нас в ежовые рукавицы.

Отделенные и взводные — не то, что сопровождавшие в вагонах дядьки.

Строгость — ни охнуть, ни вздохнуть; ноги протянуть без санкции начальства нельзя.

В уборную хочешь — иди с рапортом к отделенному ефрейтору.

Ефрейтор — начальство шибко маленькое, но мал зверюга, да зубастый.

Куражится ефрейтор над солдатом больше, чем любой полковник.

Полковник далеко, когда еще попадешь ему на грозные очи, а ефрейтор всегда под боком; пилит и тянет ежечасно.

Сапоги на поверке не блестят — наряд вне очереди. Пуговицы тусклы — наряд.

Клямор не блестит — гусиным шагом ходи.

*

Известные общественные круги, те самые, что погнали народные массы на войну, в Петербурге, естественно, больше всего расцвечиваются в нарядные одежды патриотизма и шовинизма. Высшие и средние слои буржуазии и чиновничества везде демонстрируют национальную гордость, непримиримость и воинственный пыл, благо сами они прочно окопались в тыловых штабах и канцеляриях.

Разговоры о войне буквально висят в воздухе. Несчастного немца склоняют на все лады.

Петербургские немцы и чухонцы ежедневно подвергаются оскорблениям. Некоторых под шумок избивают в темных переулках.

Особенно ретивые патриоты агитируют за немецкий погром.

Все, кто кормится и рассчитывает кормиться от войны, громко кричат о непоколебимой мощи российского и союзного воинства.

Смешно наблюдать это бахвальство невежд, не имеющих никакого представления о войне, о соотношении сил воюющих держав.

Читая ежедневно суворинские фельетоны, обыватель полагает, что он в курсе всех событий.

*

Нас спешно готовят для фронта. С утра до позднего вечера муштруют на плацу. Кажется, в военном деле самое главное — шагистика.

Часами марширует изнурительным редким учебным шагом. Ежедневно проливаем семьдесят семь потов. Белье, гимнастерку приходится выжимать.

И откуда столько пота у человека?

На строевых занятиях взводные то-и-дело кричат:

— Крепче ногу!

— Ногу крепче!

— Вытягивай носок!..

Мы с остервенением вытягиваем носок и бухаем тяжелым сапогом в землю. Особенно крепко ставим ногу после предварительной команды.

Народ как на подбор: рослый, здоровый, каждая нога — пудовая кувалда.

А начальство, любуясь эффектом, зычно кричит:

— Крепше ногу! Крепше!..

Преображенцы и семеновцы шагают реже, не вытягивают носок.

Ходят, как армейская пехота.

Нас они вышучивают:

— Эй, вы!.. Это вам не Варшава. Здесь город на болоте стоит, ногами топать не полагается.

*

От шагистики распухли ноги. Ночью их страшно ломит, и я не могу спать.

Удивительный народ полковые врачи.

Еще в университете я слышал много невероятного про их диагнозы, рецепты, методы лечения, но воспринимал это как анекдоты.

Оказывается, вся военная медицина—сплошной анекдот.

Все внутренние болезни и головные боли в армии лечат касторкой.

Внешние — иодом.

На осмотр десяти пациентов военный врач тратит не более пяти минут.

В его глазах все нижние чины — симулянты, которые стремятся при помощи медицины избавиться от военной службы.

Мои распухшие ноги тоже хотели смазать иодом.

Запротестовал. Фельдшер доложил о моей дерзости врачу.

Врач взглянул на мои оголенные, уродливые от опухоли икры, поднял на меня невозмутимо-изумленные глаза и раздельно, внушительно скомандовал:

— Извольте выйти вон! Вы здоровы!

Не верил своим ушам и замер на стуле в оцепенении, в немой неподвижности.

Глаза врача как-то странно замигали:

— Нахал!.. Я тебе говорю или нет??

Как подхваченный пружиной, вскочил со стула и начал надевать сапоги. Руки и ноги дрожали от жгучей обиды. Когда я оделся, врач фельдфебельским басом крикнул:

— Кру-гом!.. В казармы шагом ма-арш!

Больше в околодок никогда не пойду.

*

На уроках словесности никак невозможно удержаться от смеха.

Нарушаю смехом торжественное благочиние, и меня наказывают. Получил уже пять нарядов вне очереди.

Глупее солдатской словесности ничего нельзя и придумать.

Отделенные и взводные в словесности сами ничего не смыслят. Коверкают слова уморительно.

В нашей роте ни один человек не может выговорить правильно слово *хоругвь*. Говорят: *херугва*.

Нужно знать всех особ царствующего дома.

Нужно знать все военные чины от ефрейтора до главнокомандующего.

Нужно знать фамилии всего ротного, полкового, бригадного, дивизионного и корпусного начальства. Всю эту

тарабарскую премудрость мы, как попугаи, зубрим ежедневно.

Фамилии у начальства трудные, запомнить их—мука.

Штабс-капитана фон-Таубе солдаты зовут: «Вон Тумба».

Поручика Зарембо-Ранцевича — «Репа в ранце».

Подпоручика фон-Финкельштейна — «Вон Филька Шеин».

«Вон Тумбы» и «Репы в ранце» вносят некоторое разнообразие в серую казарменную жизнь.

Когда я разражаюсь гомерическим хохотом, взводный грозит набить мне «морду».

Пока еще не бил. А человек он «сурьезный», пожалуй, что и набьет когда-нибудь.

Тяжела ты, серая шинель!

*

Рано утром вызвали в кабинет к ротному командиру. Вежливо пригласил сесть.

— Вы студент?

— Уже кончил, ваше высокоблагородие.

— Мы направляем вас в школу прапорщиков. Получили приказ. Через неделю вас возьмут из роты. Война, видимо, затянется. Предстоит большой спрос на офицерский состав. Вы рады, конечно? А теперь пока идите отдыхать. Я сделаю распоряжение, чтобы вас не выводили больше на строевые занятия.

— Ваше высокоблагородие... Я не поеду в школу прапорщиков.

На лице капитана удивление и, кажется, искреннее.

— Это почему-с? — Голос звучит иронически.

И эта ирония замораживает меня. Становится неловко.

Говорить с ним не хочется.

— Не желаю.

— Полагаю, это не секрет? Об'ясните, пожалуйста, причины уклонения?

— Я не хочу занимать командную должность.

Он сокрушенно покачал головой.

— Это очень прискорбно. Ну, что ж. Я уважаю и мнения других. Только вы это мненьице оставьте уж лучше пока при себе. Думайте там себе как хотите, но влиять в этом отношении на других — боже вас сохрани! Вам придется тогда познакомиться не только с полковой гауптвахтой, но с учреждениями, более приспособленными для исправления вредного направления мысли. Я в этом тверд, как скала. Имейте в виду: не потерплю!

Когда я по его предложению поворачиваюсь на каблуках и шагаю к двери, он кричит мне вслед:

— А все-таки подумайте еще о школе. Рапорт я отложу до завтра.

Я остался при своем первоначальном мнении.

*

Немцы успешно продвигаются к сердцу Франции. Передовые колонны немецкой армии находятся в двухстах пятидесяти километрах от Парижа. На подступах к «городу революции» идут кровопролитные бои. Потери с обеих сторон колоссальны.

На нашем фронте пока затишье. Наши войска только разворачиваются.

Немцы нас не беспокоят.

План немецкого командования слишком ясен: сначала раздавить французов и затем всей силой обрушиться на неповоротливую русскую армию.

В связи с «предстоящими событиями» во Франции образовано министерство «национальной обороны».

Военное министерство возглавляется Мильераном. В кабинет входят также и Жюль Гэд, Марсель Семба. Эти люди называют себя социалистами.

В Петербурге ходят упорные слухи, что Париж в скором времени будет занят немцами.

В печати появляются — вероятно, продиктованные французским посольством в Петербурге — осторожные заметки, напоминающие о том, что русская армия должна помочь союзникам отстоять Париж.

*

Анчишкин и Граве тоже отказались итти в школу прапорщиков. Оба рвутся на фронт, у каждого свои соображения.

Граве боится, что война кончится через несколько месяцев и ему не придется понюхать пороху.

Анчишкин торопится громить немцев и, между прочим, собирать материалы для поэм.

Мне, Граве и Анчишкину пристрочили красные погоны с пестрыми кантиками по краям.

Не хотел надевать. Фельдфебель пригрозил гауптвахтой. Гауптвахта — панацея от всех зол.

Погоны вольноопределяющегося дают некоторые плюсы и минусы.

Плюсы: офицеры стали более вежливо обращаться: вместо *ты* говорят *вы*. Только ефрейторы попрежнему

мне тыкают. Для них не существует фетишизма пестры[illegible] кантиков. Ефрейтор — выше закона.

Минусы: изменилось отношение солдат. Почувствовали во мне чужого человека. Мои «странности», на которые они раньше не обращали внимания, всплыли теперь перед ними в новом фантастическом свете.

Вчера в обед я слышал, как новобранец Зимин говорил по моему адресу:

— Не иначе — для шпиенства за нами приставлен. Почему он ходит с книжкой? Почему записывает все, что ни скажешь?

— Правильно!.. Правильно! — подтвердил собеседник.

— По всем признакам барин, а спит с нами в казарме. Зачем?

— Шпиен!.. Остерегаться надо. Начальство при ем ругать не след. Упекут живо, сволочи.

*

Второй взвод — Бондарчука — это своего рода штрафной батальон.

Пружинистый, сухой, с жестким взглядом глубоко ввалившихся серых глаз, он все занятия превращает в уроки мордобития.

Особенно неистовствует на колке чучел, при изучении ружейных приемов.

Очень своеобразный бокс: одна сторона наносит удары, а другая, не защищаясь, принимает их как должное.

Любимый прием Бондарчука — удар в подбородок снизу.

Люди падают от этих ударов в обморок, прокусывают языки, теряют раздробленные зубы.

Придя с занятий, «клиенты» Бондарчука долго плачут бессильными слезами.

Но эти слезы не трогают меня, а скорее раздражают. Плакать всякий умеет.

Я зачитывался Герценом, Чернышевским, Михайловским. В тиши кабинета плакал над «страдающими» мужиками Григоровича, Успенского, Каронина, Решетникова, Левитова, Короленко...

Сейчас вот, когда на моих глазах бьют по скулам этих самых настоящих, не книжных мужиков, я вместо того, чтобы плакать вместе с ними, уткнувшись в грязную подушку, «сочувствовать» им, начинаю все больше и больше ненавидеть проявляемое ими терпение, хотя и понимаю, что это — терпение до поры, до времени.

Я начинаю понимать, что для изменения этих порядков необходимо не толстовское непротивление, а революционное насилие.

Какими словами, в самом деле, можно охарактеризовать плач двадцатилетних парней почти саженного роста, способных свалить ударом кулака любого буйвола?

*

В сентябре переехали из казармы в лагери.

Покидал Петербург с большим удовольствием. Самые плохие лагери — лучше хорошей казармы.

Целый день на лоне природы. Солнце, воздух, аромат полей и чухонских деревушек.

Но палаток не хватило на всех. Нашу роту разместили в... кавалерийской конюшне.

В ней пахнет конским потом, навозом. Нет ни одного окна, только форточки. Высокий потолок напоминает

цирк. Везде паутина и, конечно, пауки, мыши, разная нечисть...

И те же деревянные казарменные нары в три яруса.

Утром и вечером выходим на переднюю линейку. Поверка.

Поем: «Спаси, господи, люди твоя» и «Боже, царя храни».

Двенадцать батальонов поют одновременно. Что думают про себя новобранцы во время исполнения этой казенной обязанности?

*

Нам начальство усиленно прививает «вумные» понятия о необходимости умирать за свое отечество.

Вчера был очень интересный урок словесности. Явился новый прапорщик. Показывал свою ученость.

Записал из любопытства его «лекцию» почти стенографически.

«Любовь к своему отечеству — врожденное чувство каждого человека. Те, которые (кто, например?) нас учат ненавидеть отечество — негодяи!

Древние греки были умнейшим и культурнейшим народом, а посмотрите, как они любили отечество.

Патриотизм, любовь к отечеству—это было основой благочестия древних.

Умереть за свои очаги, за свои алтари, за своих богов, за свои города считалось в древнем мире высшим счастьем». И т. д.

В заключение прапорщик прочел нам военную песнь древних греков, сложенную за семьсот лет до рождества Христова.

Новобранцы сидели на уроке с осовелыми от скуки глазами.

Из ста человек едва ли кто знал что-либо о древних греках, с которых нужно брать пример, у которых нужно черпать воодушевление для борьбы с немцами.

Почему-то вспомнились злые слова Л. Толстого:

«Древние греки—уродливый черный народец. Умели хорошо рисовать только голых баб».

*

Я смотрю на солдат и думаю: «Не правда ли, как вас хорошо охраняет и защищает «отечество»? Не может быть, чтобы новобранцы не испытывали ненависти к этому отечеству, которое олицетворяется военным начальством сейчас и всяким местным прежде и которое готовит из них пушечное мясо, мучает и калечит их, вытравляет из них человеческую душу».

В строю я часто впадаю в какое-то странное мечтательное состояние.

Хочется забыться, закрыть глаза, чтобы не видеть дурацкой муштры.

Трудно что-либо делать, когда не веришь в пользу дела. Самое тяжелое наказание для человека — это заставить его выполнять ненужную никому работу.

Витая в эмпиреях, я часто прослушиваю предварительную и исполнительную команду, делаю ошибок не меньше любого татарина.

Когда командуют «налево», я поворачиваюсь «направо» и наоборот.

Удивляюсь, как меня еще ни разу не били.

Вероятно, спасают погоны.

Взводный несколько раз говорил мне перед лицом всего взвода:

— Если бы не был ты вольнопером, я бы тебе всю ряшку исколотил. Чем ты слушаешь?

А сегодня он авторитетно изрек:

— Здесь тебе, брат, не университет. Здесь надо мозгами ворочать.

В университете, по его ослиному мнению, занимаются какими-то пустячками, а в казарме, видите ли, вселенская премудрость изучается. И все военные думают так. Какой-нибудь хлыщ в лакированных крагах, наверное, убежден, что уменье ходить с нагло выпяченной вперед грудью неизмеримо выше уменья обращаться с интегралами и диференциалами, а умение обращаться со станком или сохой в его глазах уж и подавно ничего не стоит.

*

Ежедневно ходим на тактические занятия. Небо рассвирепело на кого-то. Сутками хлещут проливные дожди. Болота вокруг Красного Села вспухли от воды и сделались почти непроходимыми. Плохое место выбрал Петр для своей столицы.

Бродим по колено в воде, вязнем в липкой болотной ржавчине, в тине. Иногда лежим, рассыпавшись цепью в глубоких лужах.

Это нас «закаляют», воспитывают воинский дух.

Приходим с занятий продрогшими до костей и грязные как землекопы.

Часами чистим шинели и брюки, чтобы назавтра снова купаться в чухонских болотах.

*

В перерывах между занятиями резко спорю с Граве и Анчишкиным о «проклятых» вопросах.

Я возмущен муштрой и мордобитием.

Анчишкин зло кричит:

— Попробуйте иначе построить боеспособную армию. Возьмите наших союзников: разве там миндальничают с нижним чином? А Германия? Там, батенька, построже нашего еще. Ручки свяжут и на стену повесят. Все равно как на дыбе вздергивают. Вы же не будете отрицать, что немцы — высоко-культурная нация. Значит — так нужно. С принципами гуманизма в армии делать нечего. Ступайте с ними во всякие общества «покровителей животных» и т. п.

Но чаще всего спорим о войне, о религии.

Спорим резко, грубо, до ругани.

Ровный и сдержанный Граве становится неузнаваем. С момента об'явления войны религиозность его повысилась, и всякие нападки на религию он воспринимает как личное оскорбление. Он совершенно безнадежен, об'ясняет все — и войну тоже — высшей волей.

*

Час от часу не легче.

Заочно записали в фельдшерские ученики.

Не хочешь итти в прапорщики — ступай в ротные фельдшера.

Категорически отказался.

Вызвали к батальонному.

Генерал-майор, на широкой выпуклой груди «Аннушка», «Владимир» и еще какие-то регалии в несметном количестве.

Широкое русское лицо с голубыми глазами, нос чуть-чуть с краснотой. Типичный рубака. В молодости, наверное—бреттер.

Встретил с притворной ласковостью, расспрашивал о родных, об университете.

А в конце концов разнес меня «впух». Кричал, топал ногами, брызгал слюной.

Ну, и характерец!

*

Взводный на колке чучел каждому говорит:

— Как ты колешь, стерва!.. Ты забудь, что перед тобой соломенная чучела. Воображай, что немец, австрияк, аль-ба турок неверный.

Вообрази — и коли благословясь. Когда подбежишь вплотную, коли без сожаления в сердце, коли с остервенением. Врагу пощады давать нельзя.

Из этих поучений новобранец должен усвоить, что солдату жалость в кармане носить не полагается, что жалостью торгуют доктора, священники и женщины, что новобранец есть только солдат, и никакой жалости ему проявлять к врагу нельзя.

И когда стрелок, выслушав мудрую тираду начальства, с криком «ура» бежит с ружьем наперевес к соломенному чучелу, взводный орет:

— Стервеней! Стервеней! Стервеней, мать твою за ноги!

После удачного штыкового удара он с удовлетворением отмечает:

— Так его, мерзавца! Будет знать наших!

Получивший похвалу солдат отходит в сторону, тяжело дыша, проклиная в душе чучело и утомительную колку.

А взводный уже наставляет другого:

— Стервеней!.. Говорят тебе — стервеней! Надуйся! Надуйся, остервеней и тычь прямо под микитки!

*

Великий князь Николай Николаевич кончил молебствия и отдал приказ о наступлении. То, что было до сих пор — прелюдия. Теперь началась настоящая война.

Армия генерала Самсонова в составе пяти корпусов ударила по немцам в районе Млава — Сольдау. Завязались тяжелые бои.

Из ставки летят ликующие телеграммы о первых «значительных успехах».

*

Скептики оказались правы.

Армия генерала Самсонова уничтожена почти целиком. Наши потери превзошли всякие ожидания. Называют цифру в двести тысяч человек. Сегодняшние газеты точно воды набрали. Но о несчастьи под Сольдау знают уже все части петербургского гарнизона.

Слухи проникли в офицерскую среду. От офицеров через денщиков—в солдатскую массу.

Генерал Самсонов по одной версии взят в плен, по другой—видя гибель своей армии, застрелился.

Оптимисты, торопившиеся с наступлением, винят теперь во всем Николая Николаевича.

— Мы знали заранее. Мы это предвидели. Какой он главнокомандующий? Это—икона! Это Куропаткин № 2. Нужно не молиться, а действовать, уметь предвидеть, маневрировать.

Все же неудача не сокрушила казенного оптимизма тех, для кого оптимизм — профессия и служебная обязанность. По крайней мере, они этого не показывают.

— В начале войны нам, русским, всегда не везет,—говорят они. — Так было в 1712 и в 1812 годах. Первые поражения нам необходимы, они вызывают грандиозный под'ем духа во всех слоях населения. В первых поражениях сгорает наш национальный недостаток—лень.

Встретил в обед Граве.

— Оскандалилась наша непобедимая, — говорю я ему.

Сдержанно пожимает плечами.

— Ничего не поделаешь. Судьба. Все в руках всевышнего.

Меня взорвало это тупоумие.

— Не пойму, Август Оттович, какому богу вы молитесь. Христу, изгоняющему кнутом торгующих из храма, или Христу, учившему подставлять правую щеку, когда бьют по левой? Или наконец богу Спинозы и богу Бергсона.

Он обиделся и густо покраснел.

— С вами бесполезно говорить на эти темы. Вы не верите в наличие бога. Не верите в историчность евангелий. Что ж? Дело вкуса. Теперь безверие становится модой.

Не дожидаясь моих возражений, он строго поджал сухие губы, повернулся и пошел прочь.

Какой кретинизм, в самом деле!

Спрятался за широкую спину своего бога и думает, что ему все ясно. Нашу армию разбили — так бог захотел. Холера скосила полдесятка губерний — так захотел бог. Под трамвай попал на улице и ног лишился — так бог захотел.

Сто тысяч на бегах выиграл—опять тот же бог помог.

Попы, выдумавшие бога, создали хороший заслон для тех, кто творит всякие мерзости, защищая этим заслоном прогнивший класс эксплоататоров от гнева эксплоатируемых.

Я спекулирую на бирже, создаю искусственный голод, развратничаю, пью, убиваю, воюю, граблю, но мое дело маленькое. Я ни за что не ответственен. Мало ли куда я ехал: я—не я, лошадь—не моя. Надо мной есть бог, ему виднее, что и как. Всякий мой шаг и удар предопределены свыше.

Выгодно всем Граве жить с такой философией.

*

Сегодня в газетах напечатано:

«Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшихся самому сильному обстрелу тяжелой артиллерии, от которой мы понесли большие потери...

Генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли...»

В офицерских кругах серьезно говорят об измене генерала Ренненкампфа и министра Сухомлинова.

Но как бы там ни было, русская армия переходом в наступление отвлекает внимание и силы немцев на свою сторону.

Спасает Париж...

*

Отделенный первого отделения нашего взвода Шлаков, поправляя в строю мордвина Анапова, так сильно дернул его за ухо, что сзади лопнула кожа и кровь струйками потекла по шее, заливая ворот гимнастерки.

Анапов—на-редкость тихий и симпатичный парень—стоял с побелевшим лицом неподвижно, как статуя, не смея даже вытереть кровь; только вздрагивающие губы выдавали его внутреннее волнение.

Шлаков вывел Анапова из строя и приказал ему итти во взвод.

Проводив его, возмущенно кричал:

— Нагнали теперь всякой сволочи: мордва, чувашья, татарва, черемисия! Недостает только жидов. Скоро и жидов пригонят, пожалуй. Теперь такое время—всего можно ожидать. И это лейб-гвардия? Разве могут инородцы что-нибудь понимать? Ты его, сукина сына, хошь на-смерть изувечь—все равно дураком останется. Никогда в мирное время такого дерьма в гвардию не брали.

Слушая отделенного, я старался—и никак не мог—понять: для чего он нам это все говорит?

Может быть, он оправдывался перед нами за оторванное ухо Анапова?

Может быть, давал теоретическое обоснование физического воздействия на малоуспевающих учеников?

Окончив речь, Шлаков начал вертеть нас во все стороны и покрикивал с утроенною энергией.

Никто из нас не проронил ни звука. Мы ничем не выдавали своего отношения к тому, что произошло. Было стыдно, и сердце щипала тоска.

В обеденный перерыв ушел в уборную, не спросив разрешения у отделенного ефрейтора.

Он набросился на меня с злой руганью. Израсходовав запас ругательных слов, крикнул:

— Гусиным шагом вдоль взвода, марш!

Я отказался.

— Ни в каком уставе не сказано, господин отделенный, что за самовольную отлучку в уборную в свободное от занятий время нужно гонять провинившегося гусиным шагом. Гусиный шаг вообще, кажется, не рекомендуется военным министром.

Вероятно, отделенный в первый раз слышал такую «дерзость» от молодого солдата.

Он обалдел на минуту от неожиданности и как-будто над чем-то задумался, сморщив свой низкий лобик, выпукло выпирающий из-под козырька сбитой на затылок фуражки, но быстро справился с собой.

— Как? Что такое?! Как ты смеешь, лахудра, перечить? Руки как держишь? Руки по швам! Нашил шнурки на погоны, так думаешь—тебе все можно? Я те покажу!

Он двинулся на меня с поднятыми руками.

На нас смотрел весь взвод.

Весь дрожа, я еле держался на ногах от внезапно охватившего меня возбуждения. Я тоже вытянул вперед кулаки и бросился к отделенному с явным намерением...

Должно быть, «лик мой был ужасен»—отделенный, слова не сказав, опустил занесенный на меня кулак и, повернувшись на каблуках, рысью выбежал из помещения взвода. Вслед ему несся разноголосый злорадный смех солдат. Мне сочувственно улыбались, меня успокаивали наивно и неумело.

Я лег на свою постель. На душе было мерзко. Все казалось ужасно глупым.

Хорош бы я был в драке с ефрейтором.

Грубо, глупо, идиотски глупо, но все-таки я бы ударил его.

Через десять минут меня позвали к нашему ротному командиру.

Он прочел мне целую лекцию о недопустимости моего поведения. Говорил что-то о разлагающем влиянии на солдат, а я, слушая его краем уха, думал о чем-то постороннем и хотел только одного: чтобы меня поскорей отпустили и оставили в покое.

Кончив нравоучение, сказал:

— А сейчас я отправлю вас на гауптвахту на трое суток.

Я молчал, точно меня это не касалось. Мне казалось, что капитан обращается к какому-то абстрактному русскому солдату.

— Вольноопределяющийся Арамилев! На гауптвахту шагом ма-арш!

Слова команды вывели из столбняка.

Я с облегчением повернулся, радуясь тому, что наконец «свободен».

Взводный третьего взвода проводил меня и сдал под расписку дежурному по гауптвахте.

*

Из градов и весей, из затерянных уголков стекаются в наши казармы материнские и отцовские «грамотки» с поклонами нижайшими, с подробными описаниями всех семейных и деревенских событий.

Почтальон ежедневно приносит в ротную канцелярию пачку грязных, засаленных самодельных конвертиков, испещренных кривыми иероглифами адресов.

В предпроверочный перерыв письма раздаются. Это—самый счастливый час для солдата. Люди, насильно оторванные от близких, от родной обстановки, замурованные в стенах казармы, только и живут письмами.

Письма связывают их с другим миром, поддерживают горение души, активность, волю к жизни, дают то, без чего нельзя жить на земле.

Получение писем в казарме, как и в тюрьме,—праздник.

Великая радость льется со страниц письма в болезненно обнаженную душу солдата.

И этот единственный, редкий час радости, которого с таким нетерпением ждет каждый, начальство умудрилось превратить в час скорби, слез и проклятий.

Выдачу писем производят взводные командиры.

И, конечно, они не преминули обратить ее в балаганное зрелище, в дикое издевательство над человеком.

Солдаты не могут получить от взводного письма по пять — шесть дней.

Взводный Бондарчук заставляет каждого пришедшего за письмом ходить на руках, плясать, петь. Когда находит пляску неудовлетворительной, велит приходить за письмом на другой день.

Взводный Хренов пришедшему за письмом приказывает:

— Расскажи, как с девкой первый раз согрешил.

Женатым предлагает рассказать о «первой» брачной ночи...

И когда рассказчик, стесняясь присутствующих, старается быть лаконичным, избегает сальностей, Хренов командует «кругом» и не отдает письма.

Взводный Черемичка любит, чтобы приходящие за письмами говорили громко, брали под козырек, не доходя десяти шагов, останавливаясь за пять шагов, опускали правую руку одновременно с пристукиванием каблуков. Словом, к нему нужно подойти по «всем правилам». Для молодого солдата это не так легко.

Подошедших не по правилам Черемичка немилосердно заворачивает назад. Некоторые подходят за письмами по двадцать раз и все-таки получить не могут.

Каждый день перед поверкой во взводе Черемички отчаянные мольбы:

— Господин взводный, разрешите молодому солдату Тимохину получить письмо?!

— Кругом! Как подходишь, баба рязанская?!

— Господин взводный, разрешите молодому солдату Тимохину получить письмо?!

— Кругом! Сукин сын, как подходишь?!

Я пришел к заключению, что начальство ищет повода поглумиться, поиздеваться над несчастным солдатом. Безграничная власть, данная деспотизмом всякому маленькому начальству над телом и душой солдата, делает всех начальников садистами, и они сладострастно измываются над своими жертвами. Когда придет конец этому порядку

Вчера ночью ко мне на постель приполз солдат-тихоня Теткин и, заплетаясь, смахивая кулаками расползающиеся по щекам слезы, торопливо зашептал:

— Напиши моей матери, сделай милость. Напиши. Сам я неграмотный. Напиши, чтобы она мне совсем не

посылала писем, совсем чтобы. Понимаешь?! Измучил меня взводный, сил нет более. Две недели хожу за письмом и не могу получить.

Его грузное сырое тело нервно вздрагивало от сдерживаемых рыданий. Голые ноги в извилинах бурых вен тряслись мелкой и частой дрожью.

Охваченный приливом жалости и глубокой тоски за человека, я говорил ему какие-то нежные—чужие—слова и гладил своей ладонью его колючую остриженную под машинку голову.

Предложи мне в эти минуты кто-нибудь итти избивать «начальство», взял бы из козел винтовку и пошел бы без колебаний.

Пошел бы, даже заранее будучи уверенным в провале предприятия.

И так мы заснули с Теткиным на одной постели, тесно прижавшись друг к другу.

Ночью он вскакивал в бреду и кричал:

— Господин взводный, разрешите молодому солдату Теткину...

Утром я написал его матери длинное письмо.

Сколько нужно пережить, чтобы пойти на подобную жертву?

*

Предполагаются маневры под Царским Селом. Кто-то пустил слух, что на маневрах будет присутствовать шеф нашего полка, великий князь Николай Николаевич, числящийся по списку на службе в первой роте.

Один из офицеров полка написал песню, посвященную «Его Высочеству».

Песня нескладная, идиотски напыщенная, как стихи телеграфиста! На месте еще поем с горем пополам, а как тронемся—под ногу ничего не выходит.

Из степи ковыльной далекой
Могучий державный орел прилетел
Окинул орлиным прозорливым оком
Широкого царства далекий предел.

Тягуче под редкий шаг выводят запевалы.

Пропустив два шага, мы под левую ногу подхватываем припев:

Всегда впереди он на белом коне,—
На мирном параде и в бранном огне.
Всегда впереди он на белом коне,—
На мирном параде и в бранном огне...

— Отставить, — кричит ротный. — На месте шагом аршп!

И мы, стоя на месте, «толчем воду в ступе», нелепо размахиваем руками, опять начинаем сначала.

И так до сотни раз.

Убедившись, что наука нам на пользу не идет, ротный гонял нас по шоссе сорок минут. Бегали, высунув языки, как гончие, потерявшие заячий след. Шопотком ругали неприличными словами и виновника предстоящего торжества, и автора окаянной, не поддающейся спевке песни.

— Повесить их обоих на одной березе!—задыхаясь от гонки, крикнул кто-то в первом взводе.

Начальство было позади, выкрика не слышало.

*

Под свежим впечатлением развертывающейся на Дальнем Востоке трагедии русско-японской войны, под грохот

пушек, под свист пуль, под дружный хрип и тявканье патриотических шавок родился в 1904 году «Красный смех» Леонида Андреева.

Здесь был протест против войны, как против безумия и насилия, но не было анализа причин этого безумия и не указано было средств к прекращению его.

Сегодня Леонид Андреев в стане империалистов-патриотов и вместе с продажным сбродом, с полоумными славянофилами кричит не своим голосом:

«Война до победного конца!!! Война с немцами—борьба за мировую культуру, за прогресс, за право, за справедливость!!!»

Леонид Андреев проходит этапы, по которым шло большинство русской интеллигенции.

Грозно и решительно он проклинал прежде войну:

«...Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Рузрушьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить. Люди умирают...»

Тогда он был молод, Леонид Андреев.

А теперь, когда ясно, что этой слезницей никого не проймешь, что надо действовать, чтоб прекратить войну, что есть путь революционной войны пролетариата против империалистической войны, — Леонид Андреев заговорил о «культуре», которую будто бы спасает война...

Когда нам двадцать лет и на голове студенческая фуражка, мы крайне левые революционеры. Мы бакунисты, прудонисты, бланкисты, фурьеристы, марксисты. Читаем Герцена, Чернышевского, Михайловского, Плеханова, Писарева.

В тридцать лет мы женимся, обзаводимся мещанским уютом, канарейками, болонками, получаем местечко за общественным пирогом. Читаем умеренную литературу. Становимся либералами.

В сорок лет мы—консерваторы. Читаем только газетную хронику, «Брачную газету», иллюстрированные журналы. Усердно посещаем церковь.

Леонид Андреев сегодня вступает в третий этап истории нашей интеллигенции — истории, которой не забудут трудящиеся массы.

*

Ночью кто-то наклеил в уборной и на заборе несколько листовок:

«Товарищи солдаты

Никогда еще мир не переживал таких страшных бедствий, как в настоящее время. Миллионные армии десяти больших держав ощетинились штыками, встали одной стеной друг против друга и сеют на пути своем смерть и разрушение.

Гибнут в борьбе сотни тысяч людей, реками льется кровь, громадные пространства земли опустошаются огнем и мечом и превращаются в пустыни, тратятся безумные деньги, собранные из трудовых грошей рабочего люда.

И для чего? Кем все это вызвано? Кому нужны эти жертвы, кому нужны горы трупов, потоки крови, миллионы разоренных семей?

Разве сам народ требовал войны?.. Конечно, нет. Есть картина знаменитого русского художника Верещагина. Называется она: «Апофеоз войны» (результат). На без-

жизненном поле насыпана громадная куча человеческих черепов, кругом мертво и пусто, только от'евшиеся вороны сидят и кружатся над этой страшной кучей.

Эти хищники клюют и поедают человеческие останки; здесь им привольно, здесь их царство, тут они нашли богатую добычу.

Разве не то же происходит в действительности?

Миллионы рабочего люда идут и ложатся костьми, чтоб накормить своими трупами ненасытную стаю хищников-капиталистов.

Вот им да еще разным «помазанникам божиим» с их приспешниками, захватившими в свои руки политическую власть и стремящимися посредством победоносной войны закрепить ее за собою, и нужна война.

Капиталисты одного государства, гоняясь за миллионными барышами, сталкиваются с капиталистами других стран, вступают с ними в жестокую конкуренцию и доводят дело до войны.

А что же получает от войны трудовой народ, что война ему приносит?

Горы убитых, сотни раненых и искалеченных, миллионы обнищавших и разоренных хозяйств, голод и холод семей, лишившихся своих кормильцев, новые тяжелые налоги—вот что приносит война народу...

И пусть народ не думает, что ему после войны дадут разные льготы, что ему кто-то предоставит землю и волю.

Вспомните японскую войну. Разве война с Японией не принесла народу все ужасы и бедствия?

А когда народ потребовал для себя лучшей доли, лучшей жизни, то что он получил, кроме пуль, нагаек и виселиц?

Таковые же результаты, только несравненно больших размеров, нужно ожидать и от теперешней войны.

Вся власть и произвол нашего правительства сильны только до тех пор, пока вы их поддерживаете, они держатся вашими штыками...

И вам стоит только повернуть свое оружие против тех, кто властвует над вами и пьет вашу кровь, и потребовать дружно и властно земли и воли.

Помните же это, товарищи солдаты!.. И не забывайте, что, добившись «земли и воли», вы, вернувшись домой, найдете там только нищету и разорение...

А над вами все так же будут сидеть и кружиться стаи хищников-воронов и клевать вам глаза и пить вашу кровь»[1].

Начальство, обнаружив листовку в «расположении вверенных частей», переполошилось.

Приходил охранник в штатском. Назойливо выспрашивал солдат, читавших листовки. Приезжал военный следователь. Целая история.

*

Произвели повальный обыск.

Отделенные добросовестным образом перетряхивали наше белье и рухлядь.

У меня забрали несколько номеров «Биржевки», «Нового Времени» и «Братьев Карамазовых».

Прапорщик Быковский от имени ротного об'явил мне, что ни книг, ни газет без ведома командира роты в помещение казармы приносить нельзя.

---

[1] Дана в сокращенном виде.

«Биржевка» и «Братья Карамазовы» пошли на цензуру.

На военной службе глупостью вымощена даже дорога в клозет, но такие глупости встречаются не часто.

*

Сухой теплый осенний вечер. Тихо струится нагретый вечерний воздух. В разливах золотистой травы плещется догорающее солнце. Над рощами пожелтевших деревьев вьется тонкое газовое марево.

Возвращались с тактических занятий по Царскосельскому шоссе.

По боковым тропинкам пестрой цепочкой идут дамы с «детками», гимназистки, запоздалые дачники с картонками. Проходя мимо нас, они задерживаются на минуту и молча провожают взглядами.

Фельдфебель скомандовал:

— А ну-ка, молодцы, запевай, что ли.

Песенники точно ждали этой команды. С первого шага согласно рванули:

Вниз да по речке,
Вниз да по Казанке.
Серый селезень плывет...

Рота, легко взявшая ногу, подхватила припев:

Три деревни, два села.
Восемь девок, один я.
Девки в лес по малину...
. . . .
. . . .

Дальше шли явные непристойности, которые всегда приводили в восторг фельдфебеля и взводных.

Когда мы проходили мимо женщин, фельдфебель всегда заставлял нас петь эту похабщину.

Солдаты поют заключительную строфу припева с цыганским присвистом, с хрюканьем, с горловыми забубенными выкриками.

Видя, что я не раскрываю рта, фельдфебель подлетел ко мне и грубо, начальнически крикнул:

— Почему не поешь?

— Не хочу.

— Почему?

— Потому, господин фельфебель.

— Три наряда не в очередь!

*

Вчера в проходе конюшни встретил фельдфебеля, молодецки вывернул грудь, отдавая ему честь. В глубине души копошился какой-то веселый бес.

Он с любопытством задержал на мне жесткий взгляд, подошел вплотную и, жарко дыша перекисью гниющих зубов, угрожающе-спокойно прошипел:

— Дурак! Дубина! Ишак!

Я окаменел на месте, не понимая, в чем дело.

Фельдфебель пододвинулся еще ближе и, стукая пальцем в мою обнаженную голову, ехидно спросил:

— Позвольте узнать, господин студент, у вас тут опилки набиты или сенная труха?

Почувствовав на своем черепе леденящий холодок его руки, я понял свою оплошность. Проходя мимо начальства без фуражки, нельзя отдавать честь: нужно только поворачивать голову, есть глазами начальство и неподвижно вытягивать руки по швам.

Подошли несколько отделенных и взводных, привлеченных скандалом.

И, может быть, желая похвастать перед ними, возбужденный их нездоровым любопытством, фельдфебель приказал мне:

— Сходи за фуражкой, возьми ее в зубы и обойди вокруг конюшни три раза. На каждом шагу кричи: «Я—дурак». Понял?

Я ответил молчанием.

— За фуражкой—арш!—скомандовал фельдфебель.

Я не спеша побрел к себе во взвод и лег на нары.

Вечером засадили на гауптвахту. За то, что отказался обойти три раза вокруг казармы, дали трое суток ареста.

*

На гауптвахте сидит две недели солдат четвертой роты литер «в», Проничев. Из Тульских крестьян. Развитой толстовец. Сидит в третий раз за отказ брать винтовку. Угрожают военным судом.

Фанатически предан своей идее. Рассказывает много интересного о современных толстовцах в Тульской губернии.

Многие интеллигенты, по его словам, опростились, живут в землянках, питаются овощами.

Ночью, когда караульные спали, он дал мне прочесть воззвание толстовской группы, подписанное сорока двумя человеками.

Вот это воззвание:

«Опомнитесь, люди-братья...

Совершается страшное дело.

Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга, натравленные своими руководителями, во исполнение предписаний коих они почти на пространстве всей Европы, забыв свое подобие и образ божий, колют, режут, стреляют, ранят и добивают своих братьев, одаренных, как и они, разумом и добротой.

Весь образованный мир в лице представителей всех умственных течений и всех политических партий от самых правых до самых левых, до социалистов и анархистов включительно, дошел до такого невероятного ослепления, что называет эту ужасную человеческую бойню «священной» и «освободительной» войной и призывает положить свою жизнь...»

*

Вышел с гауптвахты. Взвод встретил меня с распростертыми об'ятиями.

Наряды вне очереди и стояние под винтовкой зарабатывает почти каждый, а на гауптвахте из молодых еще никто не сидел.

Гауптвахта окружила меня не совсем заслуженным ореолом.

Теперь в солдатских рядах я опять свой.

Стерлась грань, отделявшая меня ранее от всех остальных.

Мои пестрые кантики на погонах уже не отпугивают никого.

Наперебой угощают меня чаем, дружески хлопают по плечу, расспрашивают про порядки на «гауптвахте». Юмористически изображаю им свой трехдневный отдых в кутузке.

Взвод сотрясается от хохота. И этот смех поднимает настроение, действует так оздоровляюще.

*

Мы совершенно отрезаны от внешнего мира.

Письма, которые пишем родным и знакомым, вскрываются ротным командиром.

Многие письма совсем уничтожаются выслуживающимися цензорами из безусых прапоров и полковых писарей.

Задержали письмо к товарищу, в котором, под впечатлением минуты, я цитировал пессимистические афоризмы Шопенгауэра, Гартмана и других философов.

Ротный командир, возвращая забракованное цензурой письмо, безапелляционно изрек:

— В будущем такой чепухи не извольте писать. Вы своими письмами можете скомпрометировать весь полк. Понимаете? При чем тут все эти Шекспиры, Шопенгауэры, Гете и им подобные... Они сами по себе, а вы сами по себе. Ваше письмо можно принять за бред сумасшедшего. Это не письмо, а дрянная философская диссертация! Да, да! В гвардейских полках не может быть таких настроений. Письмо не будет отправлено на почту. Если вы попробуете отсылать письма частным путем, вам придется отвечать за это по всем правилам военного времени. Предупреждаю...

Вышел из ротной канцелярии с тяжелым чувством, как-будто у меня выхолостили душу.

Письмо разорвал на мелкие кусочки, пустил по ветру.

В обеденный перерыв подошел солдат Писарев и, оглянувшись по сторонам, таинственно сказал:

— Сейчас в уборной бумагу будут читать секретную. Если интересуешься, приходи потихоньку.

— Что за бумага? — спросил я, широко раскрыв от удивления глаза.

— Из Самары у одного брат приезжал с гостинцами, он привез. На вокзале в Самаре ему в карман сунули какие-то люди. Велели прочесть будто-де нам, солдатам.

В уборной собралось до трех десятков. Выставили часового.

При гробовой тишине, в удушливой атмосфере клозета читали вслух листовку, отпечатанную на гектографе.

Слушали, как откровение.

«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Переживаемый момент, когда все народы Европы стоят друг против друга с оружием в руках, когда ежедневно в грандиозных битвах гибнут десятки тысяч людей и когда в этой кровавой войне принимают участие миллионы ваших товарищей, социалдемократия всех стран требует исключительно серьезного к себе отношения со стороны рабочего класса.

А между тем до сих пор почти не было слышно нашего голоса. Это вынужденное молчание наше об'ясняется тем, что правящие классы всех стран, готовясь к войне и зная, что только в лице рабочих и социалдемократии они имеют единственно убежденных противников затеянной ими мировой авантюры, поспешили принять все меры, чтобы наш голос не был услышан.

С этой целью почти повсюду были закрыты все рабочие социалдемократические газеты, общества и союзы, запрещены всякие собрания, упразднена неприкосновенность переписки, введено военное положение и т. д.

За буржуазной прессой осталась таким образом монополия выражать общественное мнение всего мира, и она принялась ревностно обрабатывать и фальсифицировать его, раздувая повсюду шовинизм, сея семена человеконенавистничества и вражды, предавая на каждом шагу интересы широких масс».

Слушали все, затаив дыхание. Старались вникнуть в смысл малопонятных слов.

Фельдфебельский свисток—на занятия—оборвал чтение.

Летели из клозета, как воробьи. Лица светлели новой радостью, смутной тревогой. На-ходу заговорщики подмигивали друг другу и, хлопая по лопатке ладонью, многозначительно кивали:

Сегодня на колке чучел взводный Бондарчук ударил шомполом татарина Шарафутдинова.

Рассвирепевший татарин поднял взводного на штык, встряхнул его и перекинул через голову. Грузным мешком шлепнулось безжизненное тело на утоптанный песок.

Все это совершилось во мгновение ока.

Шарафутдинов отбросил в сторону винтовку с окровавленным штыком. Под перекрестными взглядами замерших от неожиданности солдат и командиров подошел к трупу взводного, нагнулся и, смачно чмокнув жирными губами, плюнул ему в перекошенное последней судорогой лицо. Сказал по-татарски крепкое прощальное слово и,

отойдя в сторону, спокойно скрестил на животе длинные руки.

Шарафутдинова увели на гауптвахту.

*

Труп взводного на носилках унесли в штаб батальона.

Красное пятно на плацу дневальный посыпал свежим песком и притоптал ногами.

Через полчаса на том месте, где разыгралась драма, снова звучали слова команды и измученные выпадами, истекающие потом люди снова кололи с разбега соломенное чучело.

Взводные и отделенные старались не смотреть в мутное море солдатских глаз. А солдатские глаза откровенно и вызывающе горели торжеством.

Имя Шарафутдинова, шопотом передаваемое из уст в уста, обходит все роты и команды.

Неграмотный, добродушный и тупой, был он вечным козлом отпущения. Взводные и отделенные издевались над ним.

Особенно доставалось ему на колке чучел. Бондарчук по пяти минут держал его «на выпаде» с вытянутой винтовкой в руках. Пот прошибал татарина, а он, не смея моргнуть, покорно держал тяжелую винтовку в немеющих вздрагивающих руках.

Бондарчук сердито кричал ему:

— Как ты колешь, татарская образина? Разве так колют? Я тебе научу, как колоть.

И учил. И научил...

Тихоня Шарафутдинов стал «преступником».

■

Приняли присягу.

Теперь по воскресеньям можно ходить в город.

Вчера ходил по увольнительной записке до вечерней поверки.

Военная форма ужасно связывает. Мундир—это своего рода вериги, надетые против желания.

На Невском нашему брату, нижнему чину, невозможно гулять.

По обеим сторонам улицы после двух часов идет масса офицеров и генералов. На каждом шагу приходится отдавать честь, становиться во фронт.

От постоянного козыряния через час деревенеет рука, от нервного напряжения на теле выступает пот.

Раздражение, нарастая, переходит в густую злобу. Гуляют тысячи кукольных фендриков, которых я не знаю и знать не хочу, но почему-то должен угодливо здороваться с каждым из них.

Когда я прикладываю руку к козырьку фуражки, по всем правилам гвардейской выучки, многие фендрики совсем не замечают моего приветствия и не отвечают на него.

Но это только «дипломатия».

Я хорошо знаю, что стоит мне прозевать, нарушить установленный правилами промежуток времени отдания чести, и первый встречный фендрик сейчас же «заметит» и сделает замечание, после которого я сам должен жаловаться на себя начальству:

«Вы меня великодушно пустили в город. Но я такой невоспитанный дуралей, что не заметил на Невском идущего мне навстречу офицера и не отдал ему чести. Этим я совершил тяжкое преступление против веры, царя и оте-

чества. Накажите меня, пожалуйста, построже во избежание рецидива...»

Офицеры чувствуют себя героями.

Это сказывается в каждом жесте, в каждом взгляде, брошенном вскользь на проходящую женщину, в каждом движении выхоленного тела.

И откуда столько взялось вылощенных бездельников и дармоедов в крестах?!

Сколько тупости, глупого самомнения, сатанинской гордости и бреттерства в каждом лице, в каждой складке одежды?

Военные профессионалы царской армии—безнадежно падшие, разложившиеся люди.

*

Вчера по случаю праздника получил отпуск, ходил в город.

На обратном пути забрел на окраине в кино. Давался концерт-бал в пользу раненых.

Помещение грязное. Публика специфически окраинная. Многие заметно были под «парами». Осмотревшись, хотел сразу уйти, но что-то удержало...

Первый же номер программы начался скандалом.

Когда конферансье, лысый коротконогий человек с подвижным лицом в необыкновенно высоком воротничке гоголевских времен, жеманно улыбаясь, об'явил почтеннейшей публике, что «сейчас M-elle Sophie исполнит романс Чайковского, «патриоты» передних рядов заорали:

— Гимн! Гимн! Гимн!

Распорядители этого номера не предвидели. Вышла заминка. Певица, с нотами выпорхнувшая уже на авансцену, моментально спорхнула за кулисы. Занавес опустили.

Через десять минут концертное отделение началось «гимном», который нестройно исполнил маленький хор.

Три первых номера прошли благополучно. На четвертом вспыхнул грандиозный скандал.

На сцене появилась наряженная девица в костюме, состоявшем из смеси французского с нижегородским.

— Мелодекламация,—об'явил, любезно улыбаясь, конферансье.

Аккомпаниатор дал звучный аккорд, и девица грянула известную «Песню маркитантки» Генриха Гейне.

В начале четвертого куплета опять в тех же патриотических передних рядах началось заметное движение.

Пятый куплет начать не дали.

Несколько человек, повидимому, приказчиков и лавочников, повскакали с мест.

— Долой!..

— Это оскорбление!

— Мы не позволим!

— Немецкая песня! Долой!

В зале кто-то громко свистнул в кулак, как разбойник из-под моста.

Маркитантка с побледневшим под пудрой лицом юркнула за кулисы под яростное улюлюканье разнузданной публики.

К рампе засеменил на своих коротких ножках расторопный конферансье и многозначительно вытянул вверх палец.

— Почтеннейшая публика!

Крикуны утихли, но не сели.

— Господа! Мы вполне согласны с вами, что в великие нынешние дни, когда все силы государства нашего на-

правлены на борьбу с немцами, в эти великие дни не следует выносить на сцену произведения немецких авторов. Но какой же Гейне немец?

Ведь Гейне же всего-на-всего — гамбургский еврей. Ведь он же и не жил в Германии вовсе, так как был изгнан из нее за политические взгляды.

Ведь Гейне же жил и умер в Париже, он и женат был на француженке. Господа!..

Центр зала ответил взрывом жидких аплодисментов.

Передние ряды были посрамлены и позорно спасовали. Честь Гейне была восстановлена.

Какой-то толстяк во фраке добродушно махнул пухлой рукой и под смех публики крикнул конферансье.

— А, ну, коли так, то валяйте с богом: мы ничего... Послушаем, только чтобы без обману.

Обрадованный примирением, конферансье послал уважаемой публике воздушный поцелуй и скрылся за кулисы.

На сцену опять грациозно выпорхнула злополучная маркитантка и закончила свой номер под дружные аплодисменты.

*

Когда ефрейтор и унтера не в духе, наш лагерь в обеденный перерыв и в предповерочный час отдыха превращается в форменный сумасшедший дом.

Одни ходят гусиным шагом вдоль конюшни, поминутно падая от усталости и бормоча проклятия.

Другие бегают вокруг конюшни, вокруг палаток с фуражками, с ремнями, с котелками, с кружками, с портянками, с носками, с сапогами в зубах.

Это провинившиеся, отдавшие по ошибке без фуражки честь, не вычистившие до блеска сапог, клямора, пуговиц, не вымывшие кружки.

И все эти арлекины с портянками и котелками в зубах, бегая на рысях вокруг палаток, как на корде, стараясь перекричать друг друга, вопят:

— Я—дурак! Я—дурак! Я—дурак!

— Вот как чистят клямор! Вот как чистят клямор!

— Я—балда! Я—балда!

— Я—баба! Я—баба!

— Я—гусак! Я—гусак!

— Я—квач! Я—квач!

Взводные, которые завели эту адскую шарманку, сидя где-нибудь в тени, покуривают папироски, улыбаются и хвастают каждый своим взводом.

Хвастают друг перед другом своей изобретательностью по части издевательства над подчиненными им людьми.

•

Одевшись в штатское платье, целый день бродил по Петербургу.

Встретил бывшего однокурсника Андреевского. Он заделался в земгусары. На оборону работает.

Я плохо знаю Петербург. Андреевский, как старый питерец, показывает мне достопримечательности города. Достопримечательного мало.

Общественно-политическая жизнь замерла. Опьянение войной возрастает.

Все и вся работает на «оборону».

Оборона — самое модное слово 1914 года.

На «обороне» наживают состояния...

Петербургские театры, кино, эстрады, цирки повернулись «лицом к фронту». Они тоже «работают на оборону»

Немцев ругают и профессора, и уличные проститутки и нотариусы, и кухарки, и лакеи, и «писатели», и водовозы.

Петербургские немцы чувствуют себя, вероятно, так же, как здоровый человек чувствует себя среди прокаженных. Скверное самочувствие!

Андреевский рассказывал, что в первые недели войны в Петербурге полиция организовала немецкие погромы.

У немцев вспаривали перины, выпускали пух, выбрасывали из квартир в окна на мостовую пианино, мебель, книги, картины. Знакомая картина еврейских погромов...

Возвращался в лагери в обществе молодого солдата Фомина. Умный, грамотный парнь с тусклыми печальными глазами.

Фомин ругал Петербург.

— Чтоб ему ни дна, ни покрышки! Это не город, а чорт знает что! Хотел проехать на трамвае — не пускают, потому что я нижний чин. «Садись на площадку». А она облеплена солдатами, попробуй, сядь на нее. Вагон идет пустой, а в него нельзя. Пошел пообедать в столовую — «нельзя». «Почему, — спрашиваю, — нельзя?» — «Нижний чин. Нижним чинам не велено отпускать обедов». Пошел в кино — опять «нельзя». Направили в какой-то специальный кинематограф для нижних чинов. Сунулся в парк отдохнуть—тоже не пускают. Что тут делать? Куда же итти нашему брату? Нигде нельзя, только в публичный дом дорога солдату открыта. Только там не глядят на погоны и не спрашивают паспорта. На уроках

словесности нам говорят: родина — наша мать. Хороша мать. Ни одна мачеха не относится так к своему пасынку, как наше государство — к солдату.

Помолчав немного, Фомин спросил меня:

— Скажите, пожалуйста, у немцев такие же порядки или лучше?

Я ничего не мог сказать.

*

На уроках словесности изучаем не только уставы, но и закон божий. Нам зачитали катехизис Филарета.

Взводный спрашивает.

— Что говорит шестая заповедь?

Мы должны отвечать:

— Не убий.

И дальше:

— Никогда нельзя убивать?

— Никак нет. Можно в двух случаях.

— В каких?

— В случае войны, сражаясь за веру, царя и отечество, можно убивать неприятеля; а также внутренних врагов — бунтовщиков и преступников по приговору судов.

— Значит такое убийство бог разрешает и прощает?

— Так точно.

— Может ли солдат убить своего начальника?

— Никак нет.

— Может ли начальник убить солдата без суда?

— Так точно. Может.

— В каких случаях?

— В случае надобности.

— Укажите примеры этой надобности.

— Ежели солдат откажется итти в наступление на фронте или расстреливать бунтовщиков, офицер имеет право убить солдата.

— Значит такое убийство законом божиим разрешается?

— Так точно.

— Может ли мужик убить урядника?

— Никак нет.

— Может ли урядник убить мужика?

— Так точно, в случае надобности.

— Укажите примеры надобности.

— Когда мужик не исполняет закон или нападет на урядника.

— Значит все убийства подобного рода не будут противоречить учению православной христианской церкви?

— Так точно.

*

Подал рапорт с просьбой об отправке на фронт с первой маршевой ротой.

Я не сочувствую войне. Ненависти в сердце не имею ни против немцев, ни против австрийцев.

Зачем же еду на фронт?

Этого я об'яснить сам себе толком не умею.

Кажется, меня влечет на фронт любопытство. Хочется видеть войну воочию.

И вот я, не приемля войны, ненавидя ее, прошу как можно скорее отправить меня на фронт.

*

Едем на фронт.

Прощай, Петербург! Прощай и ты, казарма — кавалерийская конюшня под Красным Селом, служившая нам спальней и столовой.

Прощай, молчаливая и безучастная свидетельница нашего унижения и бессилия.

Под сводами твоих покосившихся, грязных, покрытых паутиной стропил ходили мы на потеху унтерам гусиным шагом, стояли часами под «ращем», под «винтовкой» с полной боевой выкладкой, называли сами себя дураками и ослами.

Прощай!.. Если мы вернемся сюда когда-либо с фронта живыми, то нас уже не заставят вертеть головами справа налево до обморока, не погонят гусиным шагом, не заставят ходить по струнке.

Мы вернемся другими...

Пришла уже смена. Она приняла от нас учебные винтовки и патроны.

*

Ясный осенний день.

Красноватое солнце играет матовыми отблесками на крышах домов, на позолоченных куполах соборов.

Нас провожают на вокзал с музыкой, хотят поднять у нас настроение.

Музыканты старательно выдувают в трубы старенькие избитые марши, с которыми русские войска ходили еще на турок.

Этим маршам грош цена. Но итти под них легко и приятно.

На вокзале уезжающих с нами офицеров качают.

Элегантно одетые дамы любовно преподносят им огромные букеты цветов.

Настроение у всех приподнятое, конечно, искусственно приподнятое.

За полчаса до отхода поезда к перрону подкатил новенький с иголочки санитарный поезд с ранеными. Музыка смолкла. Засуетилось вокзальное начальство. Вытянулись и стали приторно-постными лица провожающих.

Вереницей потянулись носилки с тяжело ранеными. Легко раненые идут сами. Бледные, лиловые лица серьезны и неподвижны.

Это—первая «продукция» войны, которую мы видим так близко.

Вид распростертых на носилках тел, укутанных окровавленной ватой и марлей, порождает тяжелое, неприятное чувство.

Наши все стушевались, притихли и смотрят на раненых.

На побледневших лицах тревога. Частную публику оттеснили на почтительное расстояние.

А носилки с искалеченными телами все плывут и плывут. Изредка воздух пронизывают стоны.

Последний звонок.

Провожающие кричат нам вслед недружно и жидко: «Ура!»

Анчишкин и Граве поместились в соседнем вагоне. Сознательно не сел с ними. Пропасть между нами становится все шире и шире. Говорим на разных языках.

«Мы едем от жизни к смерти».

Эту фразу на маленькой станции бросил мимоходом юный подпоручик. Его товарищ, высокий капитан Трубников, деланно рассмеялся и сказал:

— Остроумно! Одобряю.

Едем с тою же скоростью, с какой ехали новобранцами в Петербург.

Те же телячьи вагоны, те же люди.

Но какой поразительный контраст!

Нет ни одной гармошки, ни одного пьяного.

Я не узнаю людей, с которыми ехал так недавно в Петербург.

От веселой, бесшабашной удали не осталось следа.

Забиты, замуштрованы до последней степени.

В неуклюжих шинелях, в казенных уродливых фуражках и сапогах—все как-то странно стали похожи один на другого.

Личное, индивидуальное стерлось, растаяло.

Поют исключительно солдатские песни, и в песнях этих нет того, что принято называть душой.

Песни не берут за живое.

*

Чем дальше от'езжаем от Петербурга, тем легче становится дышать.

Лениво бегут навстречу сумрачные дали полей. Точно из-под земли поднимаются седые овалы бугров, перелески.

Громыхая сотнями тяжелых колес, поезд неуклонно несет нас в бескрайные дали, где обреченным на смерть спрутом залегла в земляных траншеях многомиллионная армия.

Скоро увидим, узнаем все, все. Волнующая неизвестность станет явью.

Атмосфера муштры как-то заметно разряжается. Даже неизменная «Соловей, соловей, пташечка» не режет слуха.

Хмурые лица солдат просветлели.

С нашим эшелоном едет много офицеров. Большинство — новоиспеченные прапорщики.

Нежные, женственные лица. Выглядят гораздо моложе своих лет.

У всех новенькие хорошо пригнанные шинели. По сравнению с прапорщиками солдаты кажутся огородными пугалами для терроризирования галок и воробьев.

Прапорщики часто заходят на остановках в солдатские вагоны.

Знакомятся и «сближаются» с «серой скотинкой». Это им необходимо.

Отношение их к нижнему чину так необычно по сравнению с тем, что мы видели в казарме.

Солдаты смущаются, на вопросы прапорщиков отвечают односложным дурацким:

— Никак нет.

Ничего не добившись, прапорщики разочарованно уходят в свой вагон. Между ними и солдатами—пропасть.

•

Все чаще и чаще попадаются «следы войны».

На каждой станции встречаем санитарные поезда с ранеными и больными.

Из окон санитарных вагонов выглядывают землистые, белые, как носовой платок, лица с ввалившимися глубоко глазами.

И в этих усталых глазах, оттененных траурной рамкой подозрительной синевы, переливается тупое безразличие ко всему происходящему.

У каждого своя боль, свои раны, свои думы.

Жадно расспрашиваем обо всем. Большинство отвечает неохотно, скупо, как-будто они уже тысячи раз все это рассказывали и им смертельно надоело.

Все пути на станциях забиты воинскими эшелонами. Кругом, куда ни глянь, все одно и то же: снаряды, колючая проволока, орудия, защитные двуколки, тюки прессованного сена, кули овса, ящики консервов, быки, бараны, лошади.

Вся эта масса разнородных ценностей непрерывной рекой стекает в ненасытную пасть фронта, чтобы перевариться в нем и превратиться в ничто.

Солдаты, обозревая метким хозяйственным мужицким взглядом поезда и склады с «добром», удивленно восклицают:

— Эх, сколько добра погниет!..

— Ну и прорва этот хронт, язви его бабушку!..

На станциях все комнаты забиты военными. Масса юрких «посредников» между фронтом и тылом.

Они охотно рассказывают о победах и поражениях нашей армии.

На каждой станции в буфетах—облака табачного дыма и разговоры о войне.

Вся страна играет в солдатики.

На перронах разгуливают целыми группами сестры милосердия.

Сестры отчаянно кокетничают с офицерами, поставщиками, земгусарами и интендантами.

Быстро знакомятся. Вслух, во всеуслышание об'ясняются мужчины в любви.

Война «демократизирует», упрощает отношения людей.

Отношения между полами тоже «упростились».

*

Застряли на маленькой станции. Говорят, дальше поезда не идут. Двигаемся пешком. До фронта около ста километров.

Явственно слышны раскаты горных орудий.

На этой станции за два часа до нашего приезда был воздушный бой.

Немецкие аэропланы сбросили несколько бомб.

Повреждено много товарных вагонов. Разбит санитарный вагон с ранеными.

Обломки разобрали, людей унесли, на месте катастрофы осталось большое кровавое пятно.

Это первое пятно, которое мы видели.

Люди были погружены в вагон, перевязаны, с минуты на минуту ожидали отправки в тыл, должны эвакуироваться и... эвакуировались совсем в другом направлении.

На запасном пути среди обломков вагона лежит убитый смазчик. Его санитары забыли. Лежит, неестественно согнув под себя лохматую рыжую голову. На него никто не обращает внимания. Около него лужица крови и жестянка с маслом.

**

На маленькой станции стоим уже два часа. Подозрительно долго.

В вагоны влезает ходивший в буфет высокий, коренастый, с конусообразно усеченным подбородком Голубенко.

Люди говорять—в обратну сторону пойдемо.

— Почему?

— Турци войну нашему царю об'явили. На турецкий хронт, кажут, отправлять теперь уси шалоны велено.

Вагон замер в испуге, в изумлении, в любопытстве, в неясности.

Кого-то прорвало:

— Буде брехать, злыдень поганый!

— Вот-те крест! В газете писано: турци на нас пошли.

К газете тянутся нетерпеливые руки.

Рыжеусый ефрейтор внятно читает манифест Николая оттиснутый жирным шрифтом на первой странице:

«Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше Черноморское побережье.

Вместе со всем русским народом мы непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря...»

Смысл этих «исторических задач» ясен: Россия, по мнению царя, должна отхватить Дарданеллы, а может быть, и самый Константинополь...

Вагон гудит в пересудах, в спорах, в ругани, в догадках и предположениях.

Говорю об этом с Граве.

— Слышали? Читали?

— Про турок?

— Да.

— Читал.

— Ну, как реагируешь?

— Никак. Меня это не удивляет ничуть. Надо удивляться только тому, что турки слишком долго не выступали. Турция — исконный враг России.

Станционный колокол бьет к отправлению. Два звонка. Все занимают свои места.

— Куда же едем: вперед или назад? — спрашивает кто-то из угла.

— А бис его батьку знае! Нам все одно: што немцев бить, што турок.

— А где паровоз прицеплен: спереду аль сзаду?

— Спереду.

— Значит, на немцев едем.

— А как же турки?

— Да ну-те к лешему с твоими турками! Вот пристал, лихоманка!

Поезд трогается.

Во всех углах вагона плетутся нити разговора о турках.

•

Высадились из вагонов в густую темень осенней ночи и, построившись в колонны по отделениям, двинулись в сторону фронта по укатанному широкому шоссе.

Ночь темная. Дорога незнакомая. Не видно ни зги. Идем совсем не так, как учили в Петербурге. Не даем ногу, не оттягиваем носка. Идем обыкновенным человеческим шагом. Вся премудрость шагистики, за которую драли уши, оказывается здесь ненужной.

Штаб-офицеры едут на лошадях.

Обер-офицеры идут вместе с нами пешком. Разница между нами и ими в том, что они идут налегке, с шашкой и револьвером, а мы тащим винтовки, боевую выкладку и свой багаж. В общей сложности у каждого из нас по тридцать два килограмма. Начальник команды, подполковник Алеутов, командует:

— Песенники, на середину!

— Запевай!

И песня, вылетая из сотен солдатских глоток, играет в свежем похолодевшем воздухе осенней ночи.

— Взвейтесь, соколы, орлами...
Полно горе горевать...
То ли дело...

тянут тенора.

— То-л-ли дело под шатрами...

нажимают басы.

И все вместе подхватывают:

— В поле лагерем стоять.

Под песню, как под музыку, легче итти, даже на явную смерть.

Небо плотно нахлобучило на нас свою черную влажную шапку. Не видно ни одной звездочки.

Темнота поглотила все.

Идем ощупью, точно в бездну опускаемся. Часто падаем. Падающего, по евангельскому закону, подымаем.

Пушки ухают реже. Через трое суток мы будем в окопах.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

> Война. Стоит мне подумать об этом слове, и меня охватывает ужас, как-будто мне говорят про колдовство, инквизицию.
>
> *Гюи де Мопассан*

С наступлением глубокой осени полевая война временно кончилась. Кончились обходы, походы, молодецкие рейсы в тыл противника. Началась война окопная — «борьба за укрепление позиций».

Погода стоит переменная. Сегодня ударит мороз, крепко закует все лужицы и ручьи. Свяжет дыхание. Хрусталем звенит в дубняке лед сбиваемых ветром сосулек. А назавтра хватит сырая оттепель, раскваснт и лед и снежный покров, разводя кругом бездорожье, непролазную липкую грязь.

Угораздило купить в Петербурге легкие «щегольские» сапоги. Казенные я подарил. Сапоги малы, с носками не влезают. Приходится надевать их с тонкими портянакми и ночью в окопе выплясывать по очереди все русские сольные танцы.

Окопная война — скучная вещь.

Неприятеля не видно. Но каждую минуту нужно быть наготове.

Расстояние от наших окопов до немецких около ста шагов, местами доходит до пятидесяти.

В десяти шагах от брустверов расположены наши секреты.

В секрете ночью сидит десять человек.

Из секрета в сторону немцев наши гренадеры бросают ручные бомбы.

Ночью по окопам перекатывается беспорядочное эхо ружейной трескотни. Пулеметы и пушки таинственно молчат. Они, как тяжеловесы-бойцы в кулачном бою, ввязываются в дело только в критические моменты.

Немцы палят по нашим окопам, дабы мы не высовывали за бруствер голов и не напали на них невзначай.

Мы палим в немцев из тех же резонных соображений..

Палим, как и они, безрезультатно, в «белый свет».

На других участках, где расстояние между окопами больше, спокойнее.

Близость друг к другу нервирует обе стороны.

В нашем полку каждая рота выпускает за ночь сотни цинок патронов [1].

Жарко дышит ствол раскаленной винтовки. Нагревается и чадит деревянная накладка. В холодную погоду можно греть на винтовке руки...

Затворы, загрязненные налетом газов, отказываются работать. Чтобы открыть затвор, бьем по нему камнями лопатками, топорами.

Потери от всей этой баталии ничтожны. У нас за ночь выбывают из строя два—три человека из роты.

Это от рикошетных пуль и осколков ручных гранат.

У немцев потери, наверное, не больше, чем у нас.

---

[1] Цинка—триста патронов.

Мои московские однокашники прислали мне посылку. Небольшой ящичек печенья и конфет.

На дне ящичка сюрприз: в листе старой газеты — прокламация.

«Товарищи!

— Уже четыре месяца идет война. Миллионы рабочих и крестьянских рук оторваны от работы...

Уже четыре месяца длится вакханалия человеконенавистничества и злобного национализма.

Буржуазные правительства посредством продажной прессы всеми силами стараются одурачить народные массы, прикрывая истинный смысл войны фразами о борьбе с милитаризмом и национальным гнетом.

Но время идет и уже нужен злой умысел, чтобы не видеть, что поднятая война, всей тяжестью легшая на плечи трудового народа, ведется не в целях освобождения.

Смешно думать, чтобы царское правительство, угнетающее не один десяток национальностей, поработившее Польшу, Финляндию, чтобы это правительство взяло на себя освобождение других стран.

Истинный смысл войны заключается в борьбе за рынок, в грабеже стран, в стремлении одурачить, раз'единить пролетариев всех стран. Из-за барышей, из-за прибыли капиталистов разразилась эта ужасная война.

Династии Бельгии, России, Сербии, Англии, с одной стороны, и династии Германии и Австро-Венгрии — с другой, в круговороте раздуваемого им национализма не упускают своих выгод и прочно чинят свой пошатнувшийся трон.

Народным массам эта война несет гнет и нищету.

В сознании всей гибельности этой войны русская социалдемократия не могла не об'явить войны войне и не выступить на борьбу с шовинизмом и с русским царизмом.

И царское правительство начало расправляться с оставшимся верным себе течением.

Расточая сладкие слова по адресу буржуазии Польши, Галиции, своими грязными азефовскими руками оно арестовало всю рабочую социалдемократическую фракцию государственной думы.

И мы, социалдемократы, оставаясь под прежним знаменем интернационального братства рабочих, призываем демократию России встать против войны, грозной своими последствиями, против царского монархического шовинизма и его софистической защиты русскими либералами.

Нашей задачей в настоящее время должна быть всесторонняя, распространяющаяся и на войска пропаганда социалистических идеалов и необходимости направить штыки не против своих братьев, наемных рабов других стран, а против реакции русского правительства.

Пусть борьба капиталистов... за право большей эксплоатации народов заменится гражданской войной этих народов за свое освобождение.

Да здравствует учредительное собрание!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствут РСДРП.

Группа организованных социалдемократов».

*

Иногда наши «артисты» дают представление.

Один из солдат изображает генерала, другой самого себя.

Инсценируется урок словесности.

Генерал солдату:

— Ну, вот, солдатик, послали тебя на фронте в разведку. Ты пошел и обнаружил одного неприятельского солдата. Что же ты будешь делать?

Солдат стоит как истукан и, испуганно моргая ресницами, пожирает глазами начальство.

Генерал.—Ну??? Али язык отнялся?

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство.

Генерал.—Что «так точно».

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Дурак! Что же ты с неприятельским солдатом будешь делать, я тебя спрашиваю?

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Да ты подумай хорошенько.

Пауза.

Генерал.—Ну, что же с ним делать?

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Балда! Нужно забрать его в плен. Понял?

Солдат.—Понял, ваше превосходительство.

Генерал.—Ну, хорошо. Идешь ты на разведку в следующий раз и встретил целый полк неприятеля. Что бы ты с ним сделал?

Солдат.—Забрал бы его в плен, ваше превосходительство.

Генерал.—Дубина! Ты на себя взгляни: ну, как же ты один заберешь целый полк? Чучело ты соломенное! Для того, чтобы забрать в плен целый полк, его нужно окружить.

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство.

Генерал.—Дурак! Когда встретишь в разведке целый полк, нужно поспешно ретироваться. Понял?

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство.

Генерал.—Ну, а что ты, солдатик, будешь делать, если встретишь в разведке беспризорную корову?

Солдат.—Поспешно ретировался бы, ваше превосходительство.

Генерал. — Дурак! Зачем тебе от коровы ретироваться?

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Корову нужно приколоть штыком, и из нее выйдет хороший суп для солдат. Понял?

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство.

Генерал.—Ну, а ежели бы ты встретил в кустах раненого русского офицера, что бы ты с ним сделал?

Солдат.—Я бы его... взял в плен. Поспешно ретировался. Приколол бы его штыком, и из него вышел бы для солдат хороший суп, ваше превосходительство.

Генерал.—Дурак. Дурак. Дурак.

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство...

Не совсем складно, но очень верно по существу.

•

Вчера к нам добровольно «перешли в плен» два австрийских поляка. Их допросили в землянке батальонного командира и под конвоем солдата Свиристелкина направили в штаб бригады.

Погода была мерзкая. Свиристелкин пустил обоих пленников в расход.

Я и вольноопределяющийся Воронцов, студент-филолог, сидим в штабе батальонного, просматриваем захваченные

у немцев газеты, делая из них выборки, касающиеся фронта.

Кроме нас, в землянке командир тринадцатой роты—капитан Розанов, командир четырнадцатой роты—штабс-капитан Дымов, командир пятнадцатой—капитан Тер-Петросян и несколько человек младших офицеров.

— Так что при попытке к побегу, вашскородие,— рапортует вошедший Свиристелкин.

Все присутствующие знают, что это явная ложь.

Знает это и Свиристелкин. Он ест бегающими зрачками начальство и, пристукивая слегка каблуками, глупо улыбается.

В землянке тягучее молчание.

Прапорщики скромно укрыли глазки за щетину ресниц, настороженно ждут, что скажут старшие.

Нервный, горячий Тер-Петросян, тежело дыша, быстро переводит выпуклые луковицы маслистых глаз с батальонного на Свиристелкина и обратно.

Повернувшись к Свиристелкину, батальонный лениво и пренебрежительно цедит:

— Убил?

Свиристелкин, как-будто замечтавшийся о чем-то, странно вздрагивает всем телом и, вытянувшись в струнку, прижав к бедру винтовку, бойко строчит:

— Никак нет, вашскородь.

Лед молчания тает. Офицерские рожи расплываются в улыбках.

— Пошел вон, балда! — кричит с легким раздражением батальонный.

Свиристелкин, скрипя каблуками и громыхая прикладом, стремительно скользит в темный зев двери.

— Что делать с этим олухом?—зевая, говорит батальонный.

— Под суд, — глухо роняет штабс-капитан Дымов.

Полковник упирается в Дымова насмешливо-прищуренным взглядом, точно спрашивает: «А вы не шутите?»

И, сводя глаза к переносице, опять ленивенько так и сонно:

— Господа, в самом деле, стоит ли подымать шум из-за двух балбесов? Что такое человек? Ничто. А если он ничего, то и убить его не зазорно, не грешно. А дальше: раз я могу убить одного индивида, следовательно, могу убить и роту, полк, корпус, целую нацию. Не так ли? Жестокость в нашем деле совершенно неизбежна. Это всякий из нас понимает.

В синих клубах табачного дыма плохо видны лица офицеров.

Трудно сказать, как они реагируют на эту оригинальную проповедь.

— Значит, мораль вы отрицаете совершенно?—сквозь сухой хрип и кашель спрашивает Тер-Петросян.

Демоническая улыбка кривит пунцовые губы полковника.

— Мораль, господа, хороша... в мирное время.

— Когда я ставлю себе основной целью истребление наибольшего количества врагов, тут никакой морали не требуется. Все ясно. Вот, господа, если у вас когда-нибудь будет подступать к сердцу жалость — помните: мы убийцы по профессии, но убийство ничего особенного не представляет. Вот почему я просто выгнал вон конвоира, пристрелившего порученных ему военнопленных. Сегодня

убиваем мы, завтра убивают нас. В этом нет и не может быть ни принципов, ни морали, ни цели, ни границ. Впрочем, конкретные «цели» и «границы» во всякой войне бывают, но судить об этом уж не нам. Это дело правительств. Мы — солдаты. Технические исполнители.

Наша работа закончена. Мы с Воронцовым, испросив разрешение полковника, покидаем землянку. Хлопает влажный ветер. Небо полощется мокрой тряпкой низко над головой.

Мотаясь впереди меня в ходу сообщения, Воронцов спрашивает:

— Хороша инфузория?

— Это вы насчет батальонного?

— Да.

— Что ж. На своем месте, — рассеянно отвечаю я, преодолевая хаос нахлынувших в землянке мыслей.

— И не глуп ведь, каналья! Правда?

— Ну, пожалуй, большого ума не видно, — возражаю я. — Ему бы в атаманы разбойничьей ватаги. Это в самый раз. В Брянских лесах купцов глушить.

Воронцов возбужденно смеется.

— Правильно! Я тоже согласен.

Мы подходим к своей норе, именуемой землянкой. Кутаясь в шинели, устраиваемся на лежанке, чтобы вздремнуть пару часов.

Воронцов еще раз бормочет:

— А все-таки любопытная инфузория...

Конца его фразы я уже не слышу. Сон уносит меня в сферу иных идей и образов.

Прибыл переведенный из резерва ефрейтор Скоморохов. Он в чем-то проштрафился и за это из третьей линии попал вне очереди в первую.

Рассказывая про условия работы на третьей линии, резко критикует начальство.

— Стоять в резерве — это все равно, что каторгу отбывать. День и ночь роем окопы, ходы, сообщения, лисьи норы. Струмент—плохой, земля—мерзлая. Какая уж тут работа?.. И главное—работа-то эта никому не нужна, никакой от нее пользы. Выдумали генералы эту работу, чтобы, значит, народ мучить.

— Почему вы так думаете?

— Знаю! — упрямо говорит Скоморохов.—Хошь, расскажу я тебе случай? Мотай себе на ус, которого у тебя нет.

Вырыли мы по приказанию начальства в версте от передовой линии окопы. Это «на случай возможного отступления». Чтобы, значит, было местечко, куда приткнуться, если немец попрет вас из первой линии. Хорошо. Наше дело солдатское, подчиненное. Начальство командовает, планты составляет, а мы работаем. Вырыли окопчики что надо. Блиндажа, траверсы, землянки, бойницы — все точно как в аптеке. По шнуркам, по компасам, по вартерпасам отмеряли.

Лесу что извели, камня перетаскали, песку — и не счесть. Тысячи людей работали день и ночь.

Проработали месяц. Кончили. Дело ладно. Ну, думаем, таперчи отдых нам будет, не иначе. Из сил все выбились, хуже каторги.

И что же вы думаете? Приезжают из штаба корпуса окопы эти самые принимать. Осмотрела комиссия окопы,

пофыркала носом и говорит: «Не на том месте вырыты, позицию неудобную выбрали. Нужно еще полверсты отступить и рыть снова».

Сказано слово — закон.

И погнали нас в тот же день другие окопы рыть.

А в комиссии кто? Генерал да анженер, да полковник Мучиют нашего брата, и больше ничего.

Солдаты слушали рассказ Скоморохова с глубоким вниманием, не прерывая ни звуком.

— И сказать ничего нельзя, — продолжает Скоморохов. — Скажи слово поперек, тронь только кого супротив шерсти — в тот же секунд тебя упекут или на первую линию, или в дисциплинарный батальон, или на каторгу.

— Тебя не за это ли к нам прислали? — спрашивает солдат Вахонин.

— А то как же? За это самое, браток. Ты, дескать, чего шебуршишь, прохвост этакий? Не угодно ли тебе на первую линию, под немецкие пули? Вот и пригнали. Мучают нашего брата ни за што, ни про што.

— Да уж известное дело,—хором вздыхают слушатели, расходясь по своим бойницам.

Ротный четырнадцатой, штабс-капитан Дымов и фельдфебель Табалюк идут поверять участок.

Дымов, попыхивая толстой сигарой, молча пробирается по узкому окопу.

Фельдфебель по обыкновению брюзжит:

— Кыш по местам, анафимы! Чего табунами собираетесь. Только и норовят сбежать от бойницы да барахолить языками. Это вам не толчок, а окопы, хронт.

Какой-то хлопец, запутавшись в предательски длинных полах шинели, спотыкается о ноги фельдфебеля.

Табалюк отвешивает ему легкого тумака по загривку.

— Ишшо чего выдумаешь, слепая кикимора!

И сердито косит глазом в сторону оторопевшего солдата.

Вслед уходящему фельдфебелю кто-то шипит:

— Кащей бессмертный! И когда только он спит: день и ночь ходит по окопу. А чего старается? Прямо малохольный какой-то.

Другой голос свистящим шопотом поясняет.

— Егория на грудь хотит.

— И получит.

— Известное дело. Такие шкуры завсегда получают.

Разрывая густеющую мглу вечера и шумно чуфыркая, летит над окопами лилово-синяя ракета.

Разговоры смолкают.

Стрелки припадают к своим бойницам, лязгают затворами.

Начинается ночная потеха.

Резкая стукотня беспорядочных выстрелов нервными толчками отдается в набухших дремотой мозгах.

*

В окопах все наоборот.

Ночь и день поменялись ролями.

Ночью мы бодрствуем, а днем спим.

Первое время чрезвычайно трудно приучить себя к такой простой вещи.

Ночью клонит ко сну, днем трещит голова. Да и трудно заснуть в связывающей тело одежде, в сапогах. Когда неделю не разуваешься — сапоги кажутся стопудовыми гирями, их ненавидишь, как злейшего врага.

А распоясываться, когда противник находится в ста шагах, нельзя.

— Всего можно ожидать, — глубокомысленно изрекает Табалюк. — Ты не смотри, что он молчит. Он, немчура, хитрее чорта. Молчит, молчит, да как кинется в атаку, а мы без порток лежим. Тогда как?

Все помешались на неожиданной атаке. Ее ждут с часу на час. И поэтому неделями нельзя ни раздеваться, ни разуваться.

В геометрической прогрессии размножаются вши.

Это настоящий бич окопной войны.

Нет от них спасения.

Некоторые стрелки не обращают на вшей внимания. Вши безмятежно пасутся в них на поверхности шинели и гимнастерки, в бороде, в бровях.

Другие — я в том числе — ежедневно устраивают ловлю и избиение вшей.

Но это не помогает. Чем больше их бьешь — тем больше ни плодятся и неистовствуют. Я расчесал все тело.

Днем мы обедаем и пьем чай.

И то и другое готовят в третьей линии.

Суп и кипяток получаем холодными. Суп в открытых солдатских котелках—один на пять человек—несут километра ходами сообщения. Задевают котелками стенки окопа—в суп сыплются земля и песок.

Суп от этого становится гуще, но не питательнее. Песок хрустит на зубах и оказывает дурное влияние на работу желудка.

Все страдают запором. Горячей пищи мало, едят всухомятку.

Балагур и весельчак Орлик приписывает запор наличию песка в супе и каше.

Охота на вшей, нытье и разговоры — все это повторяется ежедневно и утомляет своим однообразием.

*

Воды из тыла привозят мало.

Берем воду в междуокопной зоне, в ямках, вырытых в болоте.

Но вот уже целую неделю это «водяное» болото держит под обстрелом неприятельский секрет. Он залег в небольшой сопке в полуверсте от наших окопов и не дает набрать ни одного ведра воды.

За неделю у колодца убиты пять человек, ранены три

Командир полка отдал лаконический приказ:

— Секрет снять. В плен не брать ни одного. Всех на месте.

...Ходили снимать.

Командовал нами подпоручик Разумов. Операция прошла вполне удачно.

Закололи без выстрела шесть человек. С нашей стороны потерь нет.

На обратном пути Разумов делится со мной впечатлениями:

— Ловкое обделали дельце, а не радует что-то, знаете ли... Мысли дрянные в башку набиваются. Хорошо посылать людей на смерть, сидя где-нибудь в штабе, а вести на смерть даже одно отделение трудно. Двадцать человек вверили тебе свои жизни: веди, но не подводи, чорт возьми! Ведь каждому копопатому замухрыжке, наверное, жить хочется.

Вон плетется сзади Семен Квашнин. Смотреть не на что. Фамилия несуразная—не человек, а знак вопроса, но ведь жизнь ему не надоела.

У него обязательно где-нибудь остались жена, дети. Ждут его домой. Вздыхают о нем ежедневно. Молятся за него.

Издали это все не так страшно: вблизи ярче и страшнее.

С завизгом проносится серебряная ракета, вычерчивая над головами замысловатую траекторию.

Вслед за ней—другая, третья. Падая на землю, они шипят, как головешки, и подпрыгивают на невидимых ногах.

— Отделение, ложись! — глухо командует Разумов.

Разорванная шеренга немых фигур падает в липкую грязь, как пырей, подрезанный мощным взмахом косы.

Чья-то мокрая подметка упирается мне в подбородок. Ракетная свистопляска усиливается.

Противник нащупал нас.

Подпоручик Разумов, лежа рядом со мной, шепчет:

— Влипли, кажется, ребятки! Побежим—постреляют, как страусов. Ну, ничего, спокойно... Дальше нужно ползком. Сейчас поползем.

Четко лязгнула стальными челюстями немецкая батарея.

И один за другим, громыхая в бездонную темь, летят злобно ревущие сгустки железа и меди, сгустки человеческого безумия.

Там, где безобидно шипели, догорая и брызгая каскадом красного бисера, ракеты, взвился крутящийся столб огня, вырвал огромную воронку земли и поднял ее вверх, чтобы потом развеять во мраке.

Кого-то ожгло. Кто-то призывно крикнул. И в этом выкрике была внезапная щемящая боль и тоска по жизни. Этот вскрик — последний вздох бренного солдатского тела, вздрагивающего в липкой паутине смерти.

— Ползком за мной! — командует Разумов.

Извиваясь змеями, уходим из-под обстрелов в свои окопы.

Первым встречает фельдфебель Табалюк.

— Ну, как, анафемы, все целы?

Подпоручик Разумов мрачно бросает:

— Четверо там остались...

— Немчура, он лютой! — философствует Табалюк.— Его только тронь. Не рад будешь, что связался. Места пустого не оставит. Все вызвездит. Секрет-то хоть сняли все-таки, ай нет?

— Сняли...

— Ну, слава богу! Марш отдыхать в землянку!..

Стряхивая с себя налипшую грязь, заползаем каждый в свое неуютное логово, чтобы забыться на несколько часов в коротком сне.

Пушки противника тарахтят реже, сдержаннее. Снаряды рвутся где-то за второй линией...

Наши батареи не отвечают совсем.

*

Кузьма Власов, рядовой четвертого взвода, смастерил себе из кусков фанеры и телефонного кабеля оригинальную балалайку.

И когда стихают надоедливые завывания и клекот пуль, Власов заползает с своим «инструментом» во

взводную землянку и, тихо перебирая «звонкие струны», вполголоса напевает вятские частушки — песни своей родины.

В песнях этих, как в зеркале, видна и вятская деревня со всеми ее «внутренностями» и отношение крестьянства к царской службе, к войне.

Ты играй, гармонь моя,
Покуда не разбитая.
Эх, гуляй, головушка,
Покуда не забритая.

Но вот подошло это роковое «бритье», и частушка запечатлела его:

Во приемну завели,
Во станок поставили,
Во станок поставили
Ремешочком смерили.

Ремешочком смерили
И сказали—приняли.
Из приемной вышел мальчик,
Слезоньки закапали,
Слезоньки закапали,
Мать-отец заплакали.

Думал, думал—не забреют;
Думал—мать не заревет,
Из приемной воротился—
Мать катается, ревет.

И сын, как может, утешает своих взволнованных родителей:

Вы не плачьте, мать, отец,
Нас ведь бреют как овец.

У рекрута остается в деревне зазноба-милая. Нужно дать директиву.

Ох ты, милочка моя,
Ты не задавайся.
Увезут меня в солдаты —
Ты не увлекайся.

Есть у рекрута любимый конь сивка-бурка. Надо и коню сказать на прощание теплое слово.

Покатай-ка, сивушка,
Меня последню зимушку.
Тебя, сивку, продадут,
Меня в солдаты отдадут.

Не забывает деревенская частушка и пейзаж: поля, луга, леса и даже улицу.

Ох, забрили мою голову
Во нынешнем году,
По тебе, широка улица,
В последний раз иду.

Когда Власов напевает свои частушки, «земляки» молча, сосредоточенно слушают. Лица у всех становятся грустными и размягченными.

Иногда балалайку у Власова берет офицерский денщик — дородный, красивый парень Чубученко. У него приятный грудной баритон необыкновенно чистого тембра.

Согнувшись на неудобной лежанке в три погибели, Чубученко всегда открывает «концерт» своей любимой

И шумит и гудэ
Дрыбен дождик идэ.
А хто ж мине, молодую,
Хто до дому доведэ?

Обизвався козак
Во зелениим лесу:
„Гуляй, гуляй, дивчинонька,
Я до дому доведу“.

Покончив с первой песней, Чубученко начинает другую:

Посадыла вражжа баба
На три яйца гусака...
Сама ж выйшла на улицу
Тай вдарила гопака.

И вся землянка разом подхватывает:

Гоп, мои гречаныки.
Гоп, мои милы,
Чего ж, мои гречаныки,
Не скоро поспилы...

И «гудит», ходуном ходит мерзлая, сырая, просмоленная дымом, прокуренная махоркой землянка от лихих сдержанных выкриков, от притоптываний просящих пляски здоровых застоявшихся ног.

Забыты на несколько минут и холод, и голод, и опасности...

*

Пятый день сидим без хлеба.

Офицеры пьют кофе с сахаром, крепкий чай, курят английский табак.

Солдаты раскисли совсем. Ходят точно одержимые. Все помыслы упираются в хлеб.

Первые два дня я крепился, храбрился и чувствовал себя сносно. На третий день меня начало «мутить». Вчера и сегодня самочувствие пакостное.

Тошнота, головокружение. В животе временами будто крысы скребут, к сердцу подпирает какая-то тяжесть. Тело утратило упругость и эластичность. Сон прерывистый и тревожный. Температура, кажется, повышенная.

Заключенные в тюрьмах выдерживают голодовки по десять—пятнадцать дней. Но там совсем иное положение. Голодовка в тюрьме — последнее средство борьбы, к ней прибегают лишь в самых исключительных случаях.

У голодающего сознательно и добровольно арестанта есть какая-то цель, есть смысл голодовки.

У нас нет цели. Нет никаких требований. Голодовка наша не имеет смысла. Мы знаем, что вынуждены голодать просто-напросто от нераспорядительности начальства. У нас нет предпосылок для соответствующего подъема духа, для голодного подвижничества, для анабиоза. Голод для нас нестерпим. За четыре дня голодовки окружающие меня люди как-то странно осунулись и постарели на несколько лет.

В эти минуты где-то там, в ярко сверкающем нарядном Петербурге, дамы-патронессы с седыми буклями, почтенные сенаторы, дипломаты, генералы, журналисты и прочая и прочая решают мировые проблемы.

Там, вероятно, водят по карте пухлыми пальцами, спорят о диспозициях и контр-атаках. Решают нашу судьбу...

А нас вот не интересуют ни исход великой кампании, ни диспозиции, ни контр-атаки — нам есть хочется.

Где-то выпал какой-то маленький винтик сложной бюрократической машины, обслуживающей нас, и обречены мы на тяжкие муки голода.

С Власовым и Чубученко конкурирует по части увеселений публики рядовой Симбо, бывший цирковой клоун. Он знает массу интересных фокусов. Например, выпивает два котелка воды (котелок—восемь чайных стаканов) и затем устраивает «фонтан»: вода из горла выливается обратно.

Взводный завидует клоуну.

— У нас, на Дальнем Востоке, Симбо, с твоей глоткой огромные деньги нажить можно. Я бы от китайцев через границу ханжу носил. Набрал бы в брюхо четвертухи две и смело через таможню — ищи!..

Али ба в гости пошел к куму, выпил полведра — и домой, дома вылил обратно в бутылки и продавай. Чудеса, ребятушки!

Ребятушки бойко смеются и в один голос хвалят емкое клоунское горло.

Власов пытается развенчать талантливого соперника:

— Морока это, братцы, не иначе! Не может брюхо вместить столько воды. Добро бы человек он могутный был. Это гипнотизма, факт! Мне один ученый доктор объяснял. Обтический обман зрения.

Симбо добродушно отшучивается и в сотый раз повторяет свои фокусы.

Когда бьет фонтан, маловеры щупают воду руками, пробуют языком.

— Нет, вода как вода!

— Все натурально!

Иногда взводный пристает к клоуну.

— Слышь, Симбо, научи ты меня этому колдовству, сделай милость! Ничего не пожалею.

Клоун звонко смеется.

— Нельзя, господин взводный. Это природное. Я по заказу сделан.

*

В наши окопы пробрался удравший из немецкого плена рядовой Василисков.

Рассказывает о немцах с восторгом.

— Бяда, хорошо живут, черти.

Окопы у них бетонные, как в горницах: чисто, тепло, светло.

Пишша — что тебе в ресторантах.

У каждого солдата своя миска, две тарелки, серебряная ложка, вилка, нож.

Во флягах дорогие вина. Выпьешь один глоток—кровь по жилам так и заиграет. Примуса для варки супа. Чай не пьют вовсе, только один кофий да какаву.

Кофий нальет в стакан, а на дне кусков пять сахару лежит.

Станешь пить какаву с сахаром—боишься, чтоб язык не проглотить.

— Сладко?—спрашивают заинтерсованные солдаты.

— Страсть до чего сладко! — восклицает Василисков. И тут же добавляет: — Игде нам супротив немцев сдюжать. Никогда не сдюжать! Солдат у его сыт, обут, одет, вымыт, и думы у солдата хорошие. У нас что? Никакого порядку нету, народ только мают.

— Чего ж ты удрал от хорошей жизни? — шутят солдаты над Василисковым. — Служил бы немецкому царю. Вот дуралей!

Он недоуменно таращит глаза.

— Как же это можно? Чать я семейный. Баба у мене в деревне, ребятишки, надел на три души имею. Какой это порядок, ежели каждый мужик будет самовольно переходить из одного государства в другое. Они — немцы — сюды, а мы — туды. Все перепутается, на десять лет не разберешь.

*

В окопах меняются радикально или частично представления о многом.

В Петрограде учили, что «внутренний враг» это те, которые... А на фронте стихийно вырастает в немудром солдатском мозгу совсем другое представление о «внутреннем враге».

В длинные скучные осенние вечера или сидя в землянке под впечатлением адской симфонии полевых и горных пушек мы иногда занимаемся «словесностью».

Кто-нибудь из рядовых явочным порядком присваивает себе звание взводного и задает вопросы.

На вопрос, кто наш внутренний враг, каждый солдат без запинки отвечает:

— Унутренних врагов у нас четыре: штабист, интендант, каптенармус и вошь.

Социалисты, анархисты и всякие другие «исты»—это для большинства солдатской массы — фигуры людей, которые идут против начальства, хотят не того, чего хочет начальство.

А офицер, интендант, каптер и вошь — это повседневность, быт, реальность.

Этих внутренних врагов солдат видит, чувствует, «познает» ежедневно.

Офицеры в первой линии в те же осенние вечера играют в землянках в карты, достают потихоньку через каптеров и вестовых вино, напиваются.

Отношения солдат с офицерами все же лучше тех, что были в Петрограде.

Молодые офицеры «снисходят» даже до того, что пишут неграмотным солдатам письма на родину.

Красивым почерком выводят на грязной бумаге поклоны тятеньке и маменьке.

Но всегда и во всем чувствуется, что солдаты и офицеры это—два разных класса с разными интересами.

*

Где-то слева третий день надоедливо урчит артиллерия. Наша или немецкая — разобрать трудно.

...Получен неожиданный приказ отступить. Слева, там, где рвутся шрапнели и воет воздух от летящих кусков железа и стали, немцы прорвали фронт. Нам угрожает фланговый удар.

Насиженные окопы жаль покидать. В них знаешь каждый выступ, каждую нору, каждый дефект. К новым опять нужно привыкать.

Немцы, видимо, чувствуют — у них вообще замечательное чутье — наше движение и поливают нас густым свинцовым дождем. К счастью, пули, как всегда, летят выше голов.

Опасаемся лобовой атаки, но ее нет. Противник дал на этот раз маху.

Когда стрелки знают о прорыве фронта, когда получен приказ об отступлении, самая «шутейная» атака противника наводит панику и отступление превращает в бегство.

Неутомимый фельдфебель Табалюк, подоткнув за ремень полы шинели, носится от взвода к взводу. Деловито и радостно покрикивает на солдат сочным тенорком:

— Не отставай, Иванов!

Да не гремите вы котелками, анафемы, не за грибами пошли!..

Не отставай, мать вашу в печонки! В плен захотелось, байструки! За немецкой колбасой соскучились! Он, немчура, угостит. Раскрой только зевало!

Подсумок закрой, Лопатин! Патроны трусятся. Растеряешь все.

Эх, будь вы, анафемы, прокляты. Согрешишь с вами!..

Фельдфебельская ругань, как комья снега, падает на серые шинели и незримо тает в шорохе шагов.

Благополучно отходим.

Случайно раненых несем на носилках из ружей, санитаров ждать некогда.

*

Не успели обнюхаться на новых позициях — опять, как выражаются солдаты, пятки салом мажем.

Глубокой ночью снимаемся с якоря и торопливо бежим в тыл... на новые места.

Опять слева подозрительно близко ухают немецкие пушки. Где-то, должно быть, опять «прорвали».

Сзади совсем близко надвигаются какие-то странные шорохи и шумы. Тревожные перекрики людей и лошадей.

Вот две батареи нащупали нас и хватили перекрестным огнем.

Низко по земле, выбивая пыль на окопных насыпях, шелестит железный град шрапнели.

Стройно, без перебоев татакают пулеметы.

Синие и желтые отблески взрывов вздрагивают на ребрах шинельных квадратов.

Все кругом трясется, горланит, визжит, ураганится, и кажется—нет выхода из этого загона смерти.

Серые фигуры, отбившиеся от своих взводов и отделений, в ошалелой бестолочи мечутся из одного хода сообщения в другой. Попадают в тупики. С рыком и воем устремляются назад, сбивая друг друга с ног; истошно матюгаясь и славословя.

В темноте наталкиваемся друг на друга, наступаем на ноги, гремим котелками. Хохол Петраченко печально острит.

— Выравниваем хронт!

Над головами в колеблющейся синеве неба жужжат пропеллеры не то наших, не то неприятельских аэропланов. Эти чайки нервируют солдат и офицеров больше, нежели самая сумасшедшая артиллерийская стрельба.

Может быть, это оттого, что аэропланы еще недавно введены в действие, к ним не привыкли...

Не идем — летим, растянувшись длинной цепью по главному ходу сообщения.

Четвертый взвод нашей роты, оставшийся для прикрытия, стреляет без передышки. Это он втирает очки противнику: старается убедить его, что ничего не случилось.

Выбираемся из хода сообщения на чистое поле.

Утро.

Тихо мерцают над головами потухающие звезды.

В ушах все еще звенит музыка пуль. Опасность миновала. Напряжение спадает.

В узком проходе неожиданно сталкиваюсь с Граве. Он без фуражки.

— Ну, как? Живы?

— Жив.

— Слава богу. А у меня фуражку смахнуло. Половина нашего отделения погибла. Я еле проскочил...

— Не задерживай там! — кричат сзади. — Граве сует мне холодную, облепленную сырой глиной руку и, подхватив котелок, бежит к своему взводу.

Воронцов не отстает от меня ни на шаг. Его острые замечания порой заставляют меня, несмотря на трагическую обстановку, хохотать до колик в животе.

Вдруг он упавшим голосом роняет мне в ухо:

— Беда!

— В чем дело?

Задержавшись на секунду, он показывает мне винтовку. Руки у него трясутся. Затвора нет.

— Потерял? — как-то машинально перехожу с ним на ты.

— Обнаковенно, — пытается он острить.

— Ничего, поправим! — успокаиваю я. — Убьет когонибудь, тогда возьмем; молчи, не подавай виду.

— Где убьет? — сокрушенно выдавливает он. — Мы уже вышли из огня. Бой кончился. Упекут меня под суд. С фельдфебелем и так нелады. Он на меня давно зуб точит.

— Плевать! Выкрутимся, дружище!

Вскинув винтовку на ремень и прикрыв ладонью изъян, Воронцов четко отбивает шаг и снова острит.

*

Ночью проходили через местечко Остаповичи. Точно по команде, солдаты разбрелись по переулкам и занялись «розысками» съестного.

Наш взвод «добыл» жирного теленка-сосунка, штук десять кур, много картошки, масла, сала.

И здесь во время грабежа жителей местечка я неоднократно слышал ту же фразу, которой оправдывали многие безобразия новобранцы по дороге в Петербург.

— Кровь проливаем! Чего там, бери!

К этому еще добавляли:

— Не мы, так немцы возьмут. На то и война, чтобы брать...

Перед уходом из местечка к ротному тринадцатой роты прибежала растерзанная старуха, напоминающая своим видом героинь мелодраматических пьес, и, всхлипывая, начала жаловаться, что солдаты изнасиловали дочь.

Капитан Розанов спокойно слушает ее, пожимая плечами, и сухо спрашивает:

— Чего же ты хочешь? Денег, что ли, пришла просить за свой позор? Сколько тебе нужно?

Старуха не отвечает.

Худые плечи ее под клетчатым рваным платком конвульсивно передергиваются.

— Сколько лет твоей дочери? Шестнадцать? Так. Ну, хорошо, предположим, соберу я их всех, подлецов, всю роту выстрою и всех заставлю расплачиваться... Ведь ста рублей не соберешь? Так иль нет? Под суд кого-то отдать? Можно. Но ведь опять-таки невинность и по суду не воротишь... На то и война, бабушка. Выезжать надо было отсюда в тыл. А то все равно не спасешься: не наши сол-

даты, так изнасилуют немцы, которые не сегодня—завтра будут здесь.

Фельдфебель, выстроив тринадцатую роту в полном походном, прищелкивает каблуками и берет под козырек:

— Так что, ваше высокоблагородие...

Ротный, повернувшись к старухе спиной, радостно командует:

— На плечо! Слева по отделениям шагом марш!

Гремя котелками, уходили из местечка; нас провожает надрывный плач старухи.

Слез старухи никто не понял: ни ротный, ни солдаты.

*

Подпоручик Разумов дал мне пачку свежих московских и петербургских газет.

Во всех газетах курьезнейшее описание нашего отступления.

«Части Н-ского корпуса под давлением превосходных сил противника оставили (идет перечисление укрепленных «пунктов» и просто пунктов)... и отошли в полном боевом порядке на заранее приготовленные позиции».

Военный обозреватель пишет еще вразумительнее:

«Н-ский корпус по тактическим и стратегическим соображениям отошел на новые позиции».

Скучнейший вздор! Вранье! Оптимизм, за который хорошо заплачено...

Все эти газетные писаки имеют о «превосходящих» силах противника такое же представление, какое имеют о нем наши штабы, какое имеем мы, бойцы, сидящие в передовой линии. А мы этого противника не только не считали, но почти не видели в глаза. Информация через

посредство шпионов имеет под собой такую же почву, как статистика об абортах и детоубийстве. Всякий шпион врет в зависимости от оплаты его вранья.

Мы не отходили, а просто бежали, как стадо, бежали потому, что не хотели умирать под огнем противника.

Мы остановились в такой местности, где никаких «заранее приготовленных позиций» нет... Спешно возводим укрепления, роем окопы, обливаясь потом.

*

Весна идет, цветы несет.

Солнце пригревает все жарче и жарче.

Черными лысинами пестрят поля. Пахнет вербой и прелой травой.

Снег посинел и разбух; по утрам он покрывается блестящей ледяной корочкой и так аппетитно хрустит под ногами.

В полдень с брустверов и с размякших стенок на дно окопа стекают ручейки холодной мутной воды, образуя в изломах глубокие лужи.

Местами вода наливается за голенища сапог.

— Лодки заказывать нужно, — шутят солдаты.

Многим выдали вместо сапог какие-то «американские» (с московской «Трубы», вероятно) ботинки наподобие футбольных буц. Ботинки промокают, подметки отваливаются. Солдаты клянут изобретателя ботинок и часто вспоминают мать заведующего снабжением дивизии.

Качество военной обуви действительно ниже всякой критики. Промокшие онучи сушить негде. От них преют и простывают ноги. В холодные ночи онучи пристывают к ногам.

Приделали к котелкам черенки и целый день по очереди отливаем из окопов воду. Работаем до отупения, а вода как-будто издевается над нами: все прибывает и прибывает; из каждой поры земли сочится вода; стенки окопа наливаются пузырями. Фельдфебель в шутку назвал эти пузыри слезами Марии Магдалины. Всем понравилось, и название закрепилось.

Ночью заморозок стягивает поры земли, на стенках окопа вырастают изящные гирлянды кристаллических сосулек. Мы бросаем котелки и беремся за винтовку. Открываем оживленную пальбу. Немцы отвечают.

И каждую ночь я себя спрашиваю: какой толк в этой бессмысленной стрельбе?

Но стрелять, очевидно, нужно. Мы разбрасываем еженощно на ветер сотни тысяч патронов, и нас не только за это не ругают, но поощряют.

О нашей идиотской стрельбе в «белый свет» непрерывно пишутся и пересылаются эстафеты, донесения, приказы, сводки, отчеты. В бесчисленных штабах сидят на этом деле сотни людей.

Газеты и журнальчики, обозревая нашу стрельбу, говорят:

«В Н-ском направлении оживленная перестрелка».

Эх, господа почтенные редакторы и журналисты! Если б вы только знали, во что обходится России эта «оживленная перестрелка»? Ведь, наверное, из каждого миллиона выпущенных пуль только одна зацепит немца, да и то ротозея какого-нибудь.

Мысленно перевожу расстрелянные за ночь пули на хлеб, на уголь, на мясо, на одежду, и эта арифметика повергает меня в отчаяннейший пессимизм.

Если так будет продолжаться несколько лет, вся Европа разорится. Россия вылетит в трубу раньше всех.

Мы разоряем себя с упорством фанатика.

*

Грунт слабый, с большим процентом примеси песку. Солнце безжалостно разрушает наши окопы. Ежедневно оползни, обвалы стенок. Земля превратилась в тесто, обильно снабженное дрожжами. Удержать ее в повиновении трудно. Наши скрепы и подпорки недостаточны. Нужны бревна, доски, ивовые плетни, сетки.

Леса под рукой нет.

За «деревом» ходим ежедневно в тыл, за двадцать километров. Разбившись на десятки, взваливаем на плечи тяжелое восьмиметровое бревно и, как муравьи, тащим его в свой окоп. Несем эту дьявольскую ношу через непролазную грязь, через темень нахмурившейся ночи, через лужи и ручьи полой воды.

Когда один из носильщиков спотыкается и падает, падают все остальные. Скользкое бревно летит в грязь.

*

Печать подлеет с каждым днем все больше. Тошно читать бесконечное вранье. В какой номер газеты ни заглянешь, каждый русский воин — альтруист, христианин, герой, а каждый немец — природный громила, варвар, дикарь и зверь.

Для фабрикации «немецких зверств» журнальные мудрецы уже создали своего рода штамп: можно заранее знать, что будет в завтрашнем номере «Нового Времени» или «Биржевки».

В одном из последних журналов какой-то борзописец на протяжении двух страниц расписывает прелести фронтовой бани. Все в порядке. Даже фотографии солдатиков, моющихся в бане.

Солдатики улыбаются, хохочут под освежающими струями воды...

Не баня — салон красоты и гигиены!

А в действительности мы моемся где-нибудь в грязной речонке, в луже, в землянке из котелка и делаем это раз в два—три месяца.

О существовании этих бань ни один солдат ничего не знает; никто этих бань в глаза не видывал.

*

Сегодня ночью немцы устроили очередную потеху: их артиллерия не давала нам спать. Воздух выл и стонал, как-будто тысячи ведьм сорвались с цепи.

Под утро шальной снаряд упал в дверь землянки первого отделения нашего взвода.

Землянку разбросало. Шесть человек убито, десять ранено.

Раненых подобрали полковые санитары. Убитых мы отнесли в заброшенный боковой ход сообщения, прозванный отростком слепой кишки, и зарыли в песок. Зарыли без молитв, без шуток. Проделали это так же безучастно и спокойно, как таскали бревна и мешки с песком.

Фельдфебель Табалюк, притаптывая свежий холмик на «братской могиле», сухо говорит:

— Смерть схватила их неожиданно, легко... Хорошая смерть! Дай бог всякому из нас так умереть!

Кто-то неожиданно всхлипнул.

О чем? О погибшем безвременно друге? О брате? О завтрашней своей гибели, может быть?

Табалюк не выносит слез. Какой же это, чорт возьми, солдат, защитник веры, царя и отечества, ежели он нюни распустил, как баба! Боевой дух потерян — все потеряно!

— Что, анафемы, разрюмились?! — шипит он в кучку насупившихся стрелков. — Эко дело смерть! Все там будем. От смерти, брат, не отвертишься. Она те найдет везде. Все под одним богом ходим. Бог — он захочет тебе кончину прописать, так и без войны пропишет: ляжешь ночью на печь к бабе и навеки заснешь. Так-то, други милые.

Молча расходятся стрелки, точно боясь разбудить, потревожить. Говорят вполголоса об отошедших на вечный покой.

Из всего отделения уцелел один Голубенко, который лежал в самом дальнем углу землянки, накрывшись шинелью. Видит в этом какое-то чудо.

В момент взрыва в землянке горел ночник, устроенный из консервной банки. Играли в «козла»... И умерли, не доиграв партии...

*

Весна вступает в свои права. Разбухли почки.

Мягко голубеет бездонное небо. Жарче дышит земля.

На деревьях и кустах кое-где шелушится зеленая бахрома листвы. Спиралями вьются звонкие жаворонки, высказывая полное пренебрежение к войне.

Вечером от потеплевшей земли тянется к небу томная дымчатая испарина.

Голосисто заливаются невидимые пичуги. Бугры увалов, виднеющиеся справа взъерошились густой щетиной молодой травы.

Запестрели радуги первых цветов.

В Петербурге теперь белые ночи.

В парках целуются влюбленные парочки.

Солдаты ежедневно толкуют о земле, о весеннем севе.

Тяжело вздыхают, вспоминая свои «осьминники», нераспаханные «клинья», «гоны», «переезды».

Все шибче и шибче ругают военную цензуру, которая месяцами задерживает письма туда и обратно.

В офицерских кругах усиленно дебатируется проблема предстоящей весенней кампании.

Говорят, скоро будет грандиозное наступление.

*

Наступаем, оказывается, мы. На наш участок стягиваются резервы, кавалерия, боевые припасы. Дым коромыслом.

О наступлении сегодня по секрету сказал мне капитан Розанов, но этот «секрет», кажется, известен многим.

Солдаты «на всякий случай» обмениваются адресами. Каждый оставшийся в живых должен сообщить о своем убитом товарище на родину.

Таков уговор. Его, конечно, выполнят. Когда смолкнет канонада и потрепанные полки вернутся в исходное положение—к той самой печке, от которой начнется танец смерти, тогда приступят к учету оставшихся в живых.

А через день в пензенские, «скопские» и «калуцкие» деревушки поползут скорбные эстафеты с оттисками кровавых пальцев.

...Ко мне подходит стрелок второго отделения Чучкин.

— Запиши-ка ты, слышь, себе мой адресок, а свой мне в подсумок положи.

— Убьют, думаешь, Чучкин?

Он печально улыбается серым бескровным ртом, обнажая клавиатуру сгнивших зубов.

— Кто яво знает, что может случиться. Дело темное, гадательное. На счастье уж надобно надеяться да на господа бога.

Записываю на блок-ноте адрес и спрашиваю, что написать его родным в случае смерти:

— Напиши так: «Сим извещаю вас, что сын ваш, Василей Чучкин, сево числа пал в бою с неприятелем во славу русского уружия и кланяется всем по низкому поклону от бела лица до сырой земли».

Его часто мигающие глазки зорко следят за моей рукой, выводящей кривые иероглифы на клочке бумаги.

Застенчиво раздвигаются обветренные губы:

— А ну-ка прочти, как ты там написал?

— Зачем тебе? Не веришь?

— Нет... Так, вообще. Хто тебе знает, что вписал. Може, ошибся...

*

Получил очередную посылку: печенье.

Быстро вытряхиваю содержимое.

Ищу на дне прокламацию.

Друзья обещали снабжать меня духовной пищей регулярно.

Да, вот так и есть. Опять ловко замаскированный серенький листочек бумаги, испещренный стройными ря-

дами бунтарских слов. Листовка написана специально к первому мая.

«*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

Прошел еще целый год. Правящие классы сделали свое гнусное дело, к которому они так долго готовились: идет десятый месяц небывало кошмарной войны, конца которой все еще не видно.

Военная буря растерзала на части международную организацию рабочих, разметала силы пролетариата по траншеям и крепостям. Революционный голос рабочих придушен.

Уничтожены все свободы, все гражданские права. Новые налоги, дороговизна, безработица, голод, болезни, кровь, смерть...

Революционный голос рабочих на время придушен. Из среды рабочих партий громко раздались голоса противников пролетарской революции, оппортунистов, с влиянием которых настойчиво и умело боролась раньше старая международная организация рабочих (Второй Интернационал).

Оппортунисты зовут рабочих слить на время войны свои силы с силами буржуазии.

Они изменили делу классовой борьбы. Они внесли еще больше расстройства в ряды рабочих.

И ликует патриотическая буржуазия, поет гимны национальному единству.

Но не рано ли? Все происходящее неизбежно и неуклонно приводит всю массу рабочих к знанию того, что необходимо теперь же, *не останавливаясь ни перед какими жертвами*, добиться осуществления тех требований,

которые раньше отстаивали только сознательные рабочие. Оставив в лагере буржуазии всех ушедших туда, очистив ряды свои от всех сочувствующих им, пролетариат с невиданной силой снова подымается на борьбу, и из этой борьбы вырастет новая революционная организация рабочих (Третий Интернационал).

Революционное крестьянство и городская беднота, измученные и наученные ужасами войны, пойдут вместе с рабочими.

Эта гражданская война, война всех эксплоатируемых со всеми эксплоататорами, при первых же успехах заставит прекратить европейскую войну между государствами.

При своем победоносном завершении она сотрет границы между государствами и создаст одно европейское государство—Европейские Соединенные Штаты.

Созданные революционными и демократическими силами Европейские Соединенные Штаты будут республиканскими и демократическими.

Тогда исчезнет всякая опасность новой европейской войны.

Объединенная и демократически организованная Европа разовьет свои экономические силы, как никогда.

Пролетариат получит материальную и духовную возможность итти к своей конечной цели—к социализму.

Товарищи! Вся текущая жизнь готовит силы для предстоящей гражданской войны. Наша задача — связать, объеденить эти силы. Для того мы должны восстановить организацию РСДРП.

Долой войну, затеянную капиталистами! Да здравствует новый революционный пролетарский Интернационал!..

Да здравствует республика и демократические Соединенные Штаты Европы!

Да здравствует первое мая!..

Организованная группа РСДРП».

*

Завтра на рассвете идем в атаку.

Сегодня с утра началась артиллерийская подготовка. Наши глухонемые батареи обрели дар слова и бойко тарахтят на все лады.

Артиллерийская канонада действует на нервы убийственно. Но когда бухает своя артиллерия, на душе чуть-чуть легче. Солдаты шутят.

— Веселее сидеть в окопе, когда земля ходуном ходит от взрывов...

Немцы подозрительно молчаливы, точно вымерли. Когда противник молчит, в душе невольно нарастает тревога. Немцы, конечно, чувствуют, чем пахнет сегодня в воздухе.

Наши истребители жужжат пропеллерами, пробираясь в сторону противника.

Нам выдали по триста пятьдесят патронов, по две русских гранаты-«бутылки».

Винтовки у всех вычищены и смазаны, как перед парадом. Ребра штыков отсвечивают мертвенно-холодным лоснящимся блеском.

Отделенные сбились с ног, снаряжая нас. Наполняем баклаги кипяченой водой, пригоняем ранцы, мешки. Все должно быть на своем месте, снаряжение не должно греметь и стеснять движений.

Война это — охота, спорт. Но спор неблагодарный и опасный.

Перед наступлением в окопах глубокая тишина. Такая тишина бывает в тюрьме перед казнью осужденного, если об этом знают все остальные заключенные.

*

Мы еще ночью местами перерезали свои проволочные заграждения и раздвинули рогатки для выхода в сторону немецких окопов.

В три часа утра, когда смолкли на минуту пушки, переливаясь, прозвенели слова команды.

Выскакиваем из окопов и, беспорядочно толкая друг друга, цепями двигаемся в сторону противника.

Немцы откуда-то издалека обстреливают нас редким «блуждающим» ружейным и пулеметным огнем. Но этот огонь почти не причиняет нам вреда.

Бежим вперед, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, низко пригибаясь к влажной бахроме росистой травы.

Ворвались в переднюю линию немецких окопов и оцепенели в недоумении: окопы пусты!

Не хотят принимать атаку? Отходят без боя? Эти вопросы вспыхивают в сознании, но отвечать на них некогда. Сзади наседают новые цепи наших резервов.

И от центра к флангам несется энергичная команда:

— Вперед!!! Вперед!!!

*

Во второй и в третьей линии неприятельских окопов также ни одного немца.

Легкость победы радостно кружит головы и в то же время путает.

Вопросы, от которых каждый из нас отмахивался в первой линии, в третьей снова встают во весь рост.

Не может быть, чтобы немцы отступили без всякого умысла?

Что у них на уме?

На что рассчитывают?

Но каждый инстинктивно чувствует, что стоит только на секунду остановиться или повернуть назад, как затаившийся где-то в земляных норах незримый сторожкий противник оскалится тысячами смертей...

Через наши головы непрерывно бухает тяжелая и легкая артиллерия.

Канонада постепенно усиливается.

Одни снаряды дают перелет, другие рвутся над нашими головами.

Бешено ревущая, сверкающая полоса огня и железа точно пологом накрывает поле.

Густая полдневная мгла, содрогаясь от взрывов, шарахается огромными воронками, спиралями, водовертью сбивает с ног.

Кроваво-красные зарева взрывов тонут в фонтанах вздыбленной мелкой земли и пыли.

Слова команды, передаваемые по цепи, плывут медленно, они едва слышны. Щеголеватых адъютантов не видно.

Стрелки и вестовые часто перевирают и путают распоряжения начальства. Получаются курьезы, недоразумения.

Да, кажется, никакой команды и не нужно в бою.

Люди стреляют, перебегают, встают, ложатся и меняют положение тела безо всякой команды; руководствуются инстинктом, рассудком.

*

Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил:

— У-рра-а-ааа!!

И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу. На параде «ура» звучит искусственно, в бою это же «ура» — дикий хаос звуков, звериный вопль.

«Ура»—татарское слово. Это значит—бей! Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя.

В этом истерическом вопле сливается и ненависть к «врагу», и боязнь расстаться с собственной жизнью.

«Ура» при атаке так же необходимо, как хлороформ при сложной операции над телом человека.

*

За третьей линией немецких окопов живописными изломами змеилась лощина, усеченная зеркальной полосой небольшой речонки. Слева на горизонте выступала огромная каменистая масса гор.

Окрыленные и смущенные мимолетным успехом, выбегаем из ходов сообщения в лощину и, потеряв направление, волчком кружимся на месте.

Над головами, невидимые, поют пули. Пляшет желтая земляная пыль.

Одна из наших резервных цепей бьет через нас в предполагаемого противника.

Командиры приводят в порядок цепи, распутывают сбившиеся звенья, отделения, взводы.

— Направление на впереди лежащую горку... — несется крутая команда. — Справа по звеньям начинай!

...На горке оказались замаскированные немецкие окопы.

Немцы встречают нас густым убийственным огнем. Бьют без промаха. Пристрелка сделана заранее с точностью до двух сантиметров.

Визжит под пулями начиненный огнем и железом воздух. Захватывает дух.

Железный ветер—ветер смерти—дыбит свалявшиеся на потных макушках пучки волос. Сметает, убаюкивает навсегда взвод за взводом.

Один за другим в муках и судорогах падают люди на влажную траву, вгрызаясь зубами в мягкую, дремлющую в весенней истоме землю.

Живые перескакивают через мертвых и бегут, оглашая ревом долину, с ружьями наперевес, с безумным огоньком в глазах.

И опять перемешались все звенья, взводы. Никто не слушает команды.

Методический клекот сотен пулеметов, работающих без перебоев, напоминает работу какой-то большой механической фабрики.

Огонь. Стихия. Хаос. Люди, обезумевшие перед лицом смерти.

*

Фельдфебель Табалюк, бегая по цепи, охрипшим от натуги голосом вопит:

— Патроны береги! Патроны!..

— Не фукай здря!

— Бей только по видимой цели! Могут отрезать от резервов—чем будем отстреливаться, анафимы!

— Пригнись к земле! Пригнись! Земля—она, матушка, не выдаст!

Согнувшись в три погибели и ныряя под пулями, бежит штабс-капитан Дымов. В правой руке поблескивает черный комок нагана.

Грозно кричит на фельдфебеля:

— Не ломай цепь, Табалюк, мать твою! Равнение держи! Почему оторвался от тринадцатой роты?

— Да рази ж их уровняешь под огнем, анафимов? Чистые бараны, вашесоко...

— Сам ты старая анафима!.. А это чьи люди?

— Тринадцатой роты, вашеско...

— Что за бардель такой?

— Не могу знать, ваш...

— Где Тер-Петросян?

— Не могу знать, ваш...

Дымов куда-то испаряется.

Часть стрелков — «приспособленные к местности»— уткнувшись головой в кочки, палит в белый свет. Штыки винтовок круто поставлены в небо.

Коршуном налетает на них Табалюк, колотит шашкой плашмя по спинам, по ногам, по бритым головам.

— Ах вы, анафимы, проклеты!.. Куды стреляете? В Илью-пророка? Переколю всех, едри ваши копалку!

Омытые потоком фельдфебельской ругани, стрелки неохотно поднимаются и бегут вперед.

Цепи катятся, упорно наседая друг на друга и сливаясь, как волны во время прибоя.

И как волна, дробясь о подножие горки, разлетаясь в брызги, отскакивают обратно, истекая кровавой пеной. Лава огня и железа испепеляет кричащее людское месиво и выплевывает, как отработанный пар.

Лощина засерела жирными пятнами трупов. В речушке образовались заторы, мосты из мертвых и раненых. На ряду с мертвыми лезут в воду живые, торопясь ускользнуть от нависшей смерти.

Связь с флангами, которая перед наступлением была детально разработана, оборвалась. Ни телефонов, ни вестовых, ни ад'ютантов в этой долине смерти, куда твердая рука командующего армией загнала несколько полков.

Впереди—невидимый противник, засевший в утробе неприступной горки.

Горка окутана колючкой, как плющем. Позади три линии пустых неприятельских окопов, которые зря громила в течение суток наша артиллерия, подготовляя нам атаку.

Смерть косила беспорядочно снующих в замкнутом пространстве людей. Роты тают, как воск на сковороде.

Кто-то надсадно, заглушая пулеметную трескотню, крикнул:

— Назад! Отступай, братцы!

Офицер или солдат?

Вопрос или приказание?

Э, да не все ли равно! Впереди явная смерть, позади, может быть, жизнь...

И серо-зеленые людские волны, редея, катятся бесшумно назад. Пьяные от возбуждения, от солнца и крови,

люди грозят кому-то кулаками, изрыгают проклятия, ныряют в окопы, в ходы сообщения, в ямы, куда не доходит горячий свинцовый дождь.

И чтобы легче бежать, бросают скатки шинелей, патронташи, сумки, ранцы, винтовки.

Только бы уйти самим...

*

Докатились до немецких окопов, что заняли два часа назад.

Вздохнули облегченно.

Еще немножко—и свои родные окопы. Там—отдых, покой, жизнь...

Но до своих окопов триста шагов.

О, эти триста шагов!

Как пробежать их, когда немецкая артиллерия открыла заградительный огонь и на протяжении этих трех сотен шагов в вакхической пляске кружится смерть?! Как перешагнуть это поле, когда на каждом квадратном метре, взметая землю, рвутся гранаты?

А сзади, от горки, уже катятся стройные цепи противника, наседают на хвосты разбитых, истекающих кровью, деморализованных полков. Пулеметы строчат без промаха, без устали...

Испуганно и зло кто-то кричит:

— Кавалерия с фланга! Обходят!

Это явная нелепость.

Что может сделать кавалерия там, где окопы, рогатки, волчьи ямы, ходы сообщения?

Но почему-то никому в голову не приходит этот простой вопрос. Все во мгновение ока поверили в кавалерию,

которая «обходит с фланга», и стремительно ринулись сплошной массой через огневую завесу, через «мертвую зону» к своим окопам, где отдых, покой и жизнь... И огонь поглотил потерявших рассудок людей.

Это был отважный прыжок в жуткую неизвестность. Ставкой была жизнь.

*

Наступление провалилось на всем участке. Немцы перехитрили наших стратегов.

Пропустив головные и резервные цепи, они открыли заградительный артиллерийский огонь и отрезали наш фронт от тыла.

Это спутало все карты наших генералов, руководивших операцией, и предрешило исход прорыва немецкого фронта, на который возлагали такие огромные надежды.

Казачьи и кавалерийские части, предназначенные для прикрытия флангов и для преследования противника— что противник побежит, подразумевалось само собою— вовсе не были пущены в дело.

Кавалерия не успела выехать за нами в прорыв. Огневая завеса противника преградила путь.

Наша рота вернулась в исходное положение в составе пятидесяти человек; двести человек осталось на поле боя. Табалюк как-то уцелел.

В других ротах потери, примерно, такие же.

Перебиты или ранены почти все младшие офицеры.

...Хорошо, что немцы не продолжили свою контратаку. Деморализация у нас полная.

Половина людей вернулась без шинелей, без снаряжения, без винтовок.

Вчера вечером кто-то вполголоса распевал в соседнем взводе:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы занимать,
Горы занимать.
Наезжали князья, графы
И чертили топографы
На больших листах,
На больших листах.
Гладко вышло на бумаге,
Да забыли про овраги.
А по ним ходить,
А по ним ходить.
На Карпатские высоты
Нас пришло всего три роты.
А пошли полки,
А пошли полки.

*

Приезжал командир бригады. У него вследствие неудачного наступления разбушевалась астма.

Обходя роты—жалкое подобие рот—в сопровождении командира полка, он злобно размахивает руками перед носом каждого солдата и, задыхаясь, бросает в лицо измученных людей жесткие, обидные слова.

— Беглецы!

Трусы!

Где винтовки? Где амуниция? Все побросали? Своя шкура дороже чести полка, дороже винтовки?

Под суд! Расстреляю в двадцать четыре часа! Присягу забыли!

Ни чести, ни совести, ни мужества!

И это императорская гвардия?!

Сволочи! Сукины!..

Хмуро молчат, подавленные бранью, стрелки.

Останавливается против отдельных солдат и распекает «персонально».

На участке двенадцатой роты триумфальное шествие бригадного наскочило на непредвиденный барьер.

Прапорщик Змиев, глядя в упор генералу, говорит:

— Ваше превосходительство! Люди не виноваты! Я один из немногих офицеров, которые шли в первой цепи наступающих колонн и вернулись обратно через огневую завесу. Стрелки не виноваты...

Серые, безучастные ко всему лица солдат зашевелились, офицеры, поднимаясь на носках, стараются прочесть в генеральских глазах полученное впечатление.

Командир полка что-то шепчет на ухо растерявшемуся от дерзости прапорщика генералу.

Прапорщик Змиев снова раскрывает рот, видимо, собираясь что-то сказать, но генерал обрывает его:

— Как смеете вы, прапорщик, меня учить?! Щенок! Мальчишка! Кадетик!

Фунт солдатской соли не с'ел, а лезет учить старых боевых генералов!

На гауптвахту! В двадцать четыре часа!

В остальные роты генерал после этого инцидента не зашел. Уехал разгневанный.

*

Перемирие.

Мягко трусит водяной пылью мелкий и назойливый дождь. Серые облака низко нависли над мокрой землей.

Свободно ходим в междуокопной зоне и подбираем тела убитых товарищей.

Раненые в ожидании перемирия больше суток пролежали без медицинской помощи, ругаясь и оглашая воздух раздирающими душу стонами.

К ним не смели подойти ни наши, ни немецкие санитары.

Хоронить убитых—тяжелая обязанность.

Хоронить тяжелее, чем итти в атаку на укрепленные позиции противника.

Ни смеха, ни шуток, ни вздохов, ни слез.

Работаем, как автоматы.

Могилы рыть не хочется, да и надобности в этом нет. Трупы сталкиваем в образовавшееся от взрывов снарядов воронки и засыпаем слоем земли. Из воронки получается курган.

Так создавали курганы.

Курганы окрестили «братскими могилами».

На некоторых поставили наскоро сколоченные грубые деревянные кресты.

Кресты торчат сиротливо, как забытые, не к месту поставленные тычинки.

*

Когда зарывали последние трупы, молоденький, хрупкий как девушка прапорщик Хмара фальшиво что-то запел, по-театральному играя руками.

Все в тревожном недоумении подняли на него глаза. И впродолжении нескольких минут стояло застывшее молчание.

Не знали, что сказать, боялись открыть истину.

Прапорщик Хмара обвел нас остановившимся взглядом мертвых зеленых глаз.

Жутко оскалил белую прорезь сплошных зубов. Сел на свежий могильный холмик из коричневой земли и дробно затявкал по-собачьи голосом молодого гончара, впервые увидевшего лису.

— Мозга с копылков слетела!—сказал кто-то из солдат.

Твердо шагая, подошел незнакомый штабс-капитан.

Нагнулся к прапорщику Хмаре, взял его за бледно-желтую руку.

Что-то спросил. Потом рывком выпрямил стройное тело в песочном сукне и сухо распорядился:

— Санитар! Возьмите господина офицера в околодок. Живо!

Лежа на качающихся носилках, прапорщик Хмара рвет прихватившее его к полотну веревки и жалобно повизгивает, как щенок.

Солдаты с побледневшими лицами провожают взглядом страшные носилки с живым трупом.

*

Засыпали последний курган. Смыли кровавые следы недавнего безумия. Идем обедать и пить чай, приготовленный поварами из ржавой болотной воды.

Радуемся тому, что живы, дышим прелым весенним воздухом. Радуемся беспорочному солнышку, прозрачным янтарно-лиловым облакам, что лениво скользят над нашими головами.

Над третьей линией немецких окопов маячит наш самолет, возвращающийся с разведки. Его обстреливают из

двух орудий. Звенит и тает в синей лазури под облаками шрапнель.

Лежим в зеленой заросли общарпанных пулями кустов.

Разговор не клеится.

Кто-то просит циркача Симбо:

— Расскажи что-нибудь.

Он долго отнекивается. Потом медленно, с расстановкой декламирует, лежа на спине, как шел на войну король и как шел на войну Стах.

— Это в каком государстве было?—спрашивает увалень Карпухин.

Закрыв широко расставленные глаза, Симбо говорит:

— Эх ты, деревня! Не в государстве, а на земле. Знаешь, есть евангельские притчи о Лазаре, о пяти хлебах и т. д.? Знаешь? Ну, вот эта сказка в роде тех, только поумнее малость, умным человеком составлена для просвещения нас, дураков.

— При чем здесь мы?—недоуменно тянет кто-то из-под куста.

— Олиет!—сердито бросает Симбо.

— Стахи — это мы, нижний чин, пушечное мясо, серая скотина!

Король это—все наше начальство: царь, министры, генералы, адмиралы, губернаторы, архиереи, попы, околодочные, офицеры, земские, становые.

•

Через неделю, может быть, немцы будут наступать на нас. Мы подстроим им такую же ловушку. И они, такие чистенькие, гладко выбритые, аккуратненькие—хоть сей-

час на парад—устелют своими трупами междуокопную зону. Их раненые заживо будут разлагаться. Будут вопить о помощи в ожидании перемирия, которое наши командиры постараются, елико возможно, оттянуть.

Таков неписанный закон войны.

Сегодня они, завтра мы!

Когда немцы будут хоронить своих «павших» товарищей, мы любезно будем помогать им в этом, как и они нам помогали сегодня. Мы тоже умеем быть «джентльменами», умеем платить «добром» за «добро».

*

События последних дней как-то придавили меня, и я все еще не могу стряхнуть с себя груз тяжелых впечатлений, навеянных неудачным наступлением.

Говорят: на нашем участке убито пятнадцать тысяч человек.

Пятнадцать тысяч трупов, когда я начинаю о них усиленно думать, превращаются в моем сознании в мясной Монблан.

Но журналисты говорят, что война только начинается. Им, конечно, лучше знать. Они самые компетентные люди в современном обществе. «Оттуда» виднее.

Сколько же еще мясных Монбланов будет воздвигнуто на этих уныло-молчаливых полях сражения?

*

Пришло пополнение.

Статные, высокие новобранцы зовут нас «дядьками» и «стариками». Мы были в «огне», и это поднимает нас в их глазах на недосягаемую высоту.

Наше неудачное наступление усиленно рекламируется прессой.

По гранкам изолгавшихся вконец газет важно гуляют жирные утки о нашем «беспримерном» героизме, о «многочисленных» силах «тевтонских варваров», брошенных в сделанный нами прорыв. Работают наемные рыцари казенного пера...

Интересно бы взглянуть на немецкие и австрийские газеты за эти дни.

*

В конце мая в Москве полиция организовала вновь немецкий погром.

В Москве пострадало всего шестьсот девяносто два человека: немцев и австрийцев только сто тринадцать; остальные... французы, англичане, бельгийцы, шведы, норвежцы и... русские.

По предварительным подсчетам московских администраторов, во время погрома разбито и разграблено вещей на сумму сорок три миллиона рублей.

Сорок три миллиона...

На эти деньги можно было бы выстроить несколько сот новых школ и больниц.

По слухам, немцы, пострадавшие от погрома, получат возмещение убытков от своего правительства через посредство американского консула в России, который горячо взялся за это дело.

Подданные союзных и нейтральных держав, конечно, получат через своих консулов от русского правительства.

И только русским подданным, пострадавшим от разгула русского же «патриотизма», не с кого получить возмещение убытков.

В России у русских граждан нет консула...

*

На наш полк отпущено изрядное количество георгиевских крестов.

Нужно кого-то «выделить», кого-то «представить» в герои и кавалеры.

Но как выделять, когда перебит чуть не весь офицерский состав, ходивший с нами в атаку? Как выделять, когда вообще героев не было, геройства не было, когда была просто слепая, стихийная человеческая масса, загипнотизированная дисциплиной?

Правда, когда наступали, то некоторые длинноногие ходоки бежали впереди, обгоняя других. Но где видано, чтобы выдавать за длинные ноги кресты и медали? Да и к тому же длинноногие во время отступления тоже бежали впереди всех и, следовательно, уравновесили себя со всеми коротконогими.

А штаб корпуса не знает — или знать не желает — этой обстановки и требует «героев». От каждого полка, от каждой роты.

Неловко без героев. В других корпусах есть, почему же у нас нет?

Героев давайте!..

Командиры рот проклинают штабную бюрократию, которая там «мудрствует лукаво»; некоторые напряженно морщат загорелые «мужественные» (выражение журналистов и военных корреспондентов) лбы и, издеваясь над

глупым приказом, представляют к «георгиям» денщиков, кашеваров, санитаров, полковых сапожников...

Кузька Власов предложил ротному:

— Нельзя ли, ваше благородие, кресты по очереди всем носить: неделю бы тот, неделю бы энтот или ба хто в отпуск в деревню проедет — тому креста три на грудь во временное пользование. Справедливо бы было, ей-богу! Я первый...

Штабс-капитан Дымов хохотал до слез. Кузька получил за эту выходку Георгия четвертой степени.

*

Немцы стальным клином врезались в наш фронт. Прорвали.

Отступаем «без заранее обдуманного намерения».

Иногда отходим в полном порядке, иногда бежим куда глаза глядят, не слушая команды, не считаясь с направлением.

Говорят: другие наши армии наступают. Кому-то придется скоро «выравнивать фронт».

От сильного толчка в лоб мы потеряли равновесие и стремительно катимся назад. Штабы мечутся лихорадочно.

Преподавая нам в Петербурге искусство побеждать, ротный говорил, что немецкая кавалерия тяжела, малоподвижна и не опасна в бою. Видимо, он не совсем точно был информирован на этот счет.

Не успеем мы передохнуть и выпить по кружке чаю после утомительного сорокакилометрового перехода, как летит ординарец из штаба бригады с грозным предостережением:

— Неприятельская кавалерия с фланга.

Встряхиваем пропотевшие кольца скатанных шинелей и, напрягая остаток сил, убегаем от флангового удара.

У меня стерты ноги. Грязные пропотевшие портянки прилипают к лопнувшим мозолям, пот и грязь раз'едают мясо.

А итти — иногда бежать — нужно. И хождению этому по полям, по болотам и оврагам ни конца, ни краю не видно.

— До морковкина заговенья проходим! — уверенно говорят солдаты.

Конец бывает в каком-либо деле, в работе. Мы же занимаемся «спасением» отечества, играем в чехарду в европейском масштабе.

*

Отступаем.

Сзади непрерывно вспыхивают кроваво-красные зарницы орудийных выстрелов.

Измученные голодом и бессоницей, овеянные запахом крови, мы бредем без всякого направления.

Кругом, куда хватает глаз, мертво.

Уныло бегут по бокам бескрайные дали.

Понурые, изглоданные, исщербленные, изувеченные снарядами, не вспаханные серо-зеленые поля.

Сломанные, опрокинутые двуколки, дрожки, тарантасы, брички с военным грузом, со всяческим домашним скарбом.

Гниющие трупы людей, лошадей с выкатившимися из орбит глазами, с раскоряченными ногами, с согнутыми

подковой шеями, с сведенным в саркастическую гримасу оскалом обнаженных зубов.

Тысячи беженцев, смытых с насиженных мест всеобщей паникой, ураганным огнем двенадцатидюймовок, согнанных приказами командующего, казацкими пиками и нагайками, голодом, плетутся вперемежку с войсками.

Беженцы тянут за собой вереницы коров, свиней, коз, овец, волов, кроликов, гусей, кур, индюков...

Они подолгу путаются на переправах, устраивают пробки па мостах и в трясинах. Воздвигают на пути движения войск баррикады, стесняют движение армейских обозов.

На шоссейных дорогах — и в бездорожьи — по ночам непрерывный скрип телег, высокие грудные выкрики женщин, плач детворы, рев, ржанье, хрюканье, визг голодной скотины, сердитое кудахтанье домашней птицы.

В стороне от «шаши» тлеют развалины резрушенных артиллерийским огнем халуп, имений, фольварков.

Ярко горят, подожженные отступающими войсками,— а может быть, хозяевами? — стоги прошлогоднего сена, ометы соломы, скирды хлеба.

Когда на шоссе получается «беженский затор», командиры полка пускают в дело команду конных разведчиков.

Конники молотят нагайками беженских лошадей и возниц. Первых норовят ударить по глазам, вторых — по переносице.

В такие минуты весь беженский табор, точно сговорившись, гарланит истошным ревом, будто на него налетела орда грабителей.

И если битье не помогает, разведчики слезают с седел. Рубят шашками гужи и постромки беженских повозок; сбрасывают повозки в воду, в болота, в канавы, с веселым гиком и хохотом ломают оглобли, дышла, колеса, клетки с кроликами, плетушки с курами — путь должен быть очищен!..

Связь с соседними частями оборвалась. В карты глядеть некогда. В сумасшедшем хаосе отступления карта — анахронизм.

Иногда неприятельская шрапнель начинает рваться прямо над головами или впереди нас.

Тогда мы, не дожидаясь команды, под прямым углом поворачиваем вправо или влево и, обнаруживая непонятную прыть, улепетываем от губительного огня.

*

Кавалерия противника целый день назойливо маячит на горизонте.

И потеряй мы окончательно присутствие «воинского духа» — порубят нас как капусту.

Вот на фланге подозрительно кружатся облачка бледно-розовой пыли. Облачка растут и приближаются с досадной, весьма для нас нежелательной поспешностью.

Головы всех поворачиваются туда, руки невольно сжимают винтовки, в глазах животная ярость, ярость усталых, голодных, загнанных, перепуганных людей, которым так нахально мешают уходить от смерти...

— Ну, братцы, сейчас или голова в кустах или грудь в крестах!

Это шутит ротный.

А через секунду сухо-деловым тоном кричит:

— Проверь затвор! Открой подсумки! Спокойствие! Спокойствие. Спокойствие, чорт вас возьми!

Перестраиваемся. Рассыпаемся в цепь.

Замерли, почти не дышим, затаившись в изломах земли.

— Прицел постоянный! — несется откуда-то сзади знакомый баритон командира полка. — Без команды не стрелять. Пулеметы на линию!

Уже отчетливо видны дерзкие всадники, пригнувшиеся к лошадиным головам, взмыленные, взбешенные шпорами лошади, переливающаяся на солнце сталь обнаженных клинков.

Еще несколько секунд—и всадники врежутся в нашу цепь, пройдутся по нам тяжелыми конскими копытами, прощупают наши ребра острыми саблями.

О чем они думают в этот момент?

Может быть, они думают, что у нас нет патронов, что мы разучились стрелять?

А может быть, им надоело жить, голодать в походах, грабить жителей, расстреливать шпионов и они ищут смерти?

— По кавалерии пальба!

Мы прилаживаем винтовки к плечу.

— Поо-лк! Пли! Поо-лк! Пли!

Сухой треск двух тысяч винтовок с шумом разбрасывает воздух. Пулеметы тарахтят монотонно и грозно.

Как трава под косой, стелются по земле лошади, дрыгая перебитыми ногами, давят всадников, обдают их тяжким предсмертным хрипом.

Основное ядро конников поворачивает назад и моментально скрывается в тучах пыли.

И только несколько всадников, чудом уцелевших от наших залпов, подскакивают почти к самой цепи.

Офицеры поднимаются на ноги, выбегают вперед и из наганов в упор расстреливают тяжело поводящих боками лошадей и странно выпучивших глаза, безмолвных всадников.

Отразив атаку, двигаемся дальше. Нервное напряжение, вызванное картиной боя, спадает.

А через час, через два опять кто-нибудь тревожно кричит:

— Недобитая кавалерия на фланге маячит!

И опять приходится бить. Бить или подставлять свою собственную шкуру.

Ночь-спасительница укрыла нас своим опахалом и дала желанный отдых истомленным ногам.

Ночью кавалерия в атаку не ходит.

*

Ночевали в богатом местечке.

Два солдата нашей роты забрались к старику-поляку в картофельный погреб картошку воровать.

Старик захлопнул крышку погреба и навалил на нее тяжелый камень.

Парни очутились в мышеловке.

Утром мы уходили. Нехватало двух человек.

Бросились на поиски. Случайно наткнулись на мышеловку и «отвалили камень от гроба».

Старик запер их без всякой задней мысли—хотел «попужать», но утром забыл по рассеянности выпустить.

Фельдфебель притащил перепуганного старика к ротному держать ответ. Штабс-капитан Дымов, наверное,

отпустил бы его, но в халупу случайно заглянул раздраженный чем-то батальонный.

— Агаа! Ты знаешь, что здесь через сутки будут немцы, и поэтому запер наших солдат, чтобы выдать их в плен! Шпион! Я тебе покажу, мерзавец, как родину... Расстрелять!

Старик опускается на колени и жалобно лепечет:

— Соколики, возродные мои! Не убивайте меня, Христа ради!

Старика подхватывают под руки и тащат в глубь двора, к плетню.

Он ухватил одного солдата за ногу. Солдат, размахнувшись винтовкой и крякнув, неловко сует прикладом в бок старику. Старик, глухо охнув, садится на землю.

Во дворе болталось десятка полтора солдат, уже одетых и собравшихся в поход.

— Смирно! — командует батальонный. — Слушай мою команду! Стройся! Ровняйсь! По старику, что у плетня, пальба!

Шеренга вскинула винтовки.

— Взвод!

Старик встал на колени и с кроткой мольбой протягивает к солдатам ссохшиеся, оголенные до локтей руки в синих узлах вен. Ветер пушит и качает его седую бороду.

— Пли! — тихо звучит исполнительная команда.

Короткий залп колыхнул воздух. Точно большой гвоздь вогнали тяжелым молотом в забор.

Старик дернулся телом и врастяжку упал ничком.

За воротами строимся в колонну по отделениям. Первый и второй батальоны с песнями вышли за околицу.

— Песенники на середину! — звенит вибрирующий голос батальонного. — Запевать с первого шага. Батальон! Шагом! Марш!

Запевалы грянули любимую песню батальонного.

А позади нас на теплом трупе старика молодым голосом истерично визжала обезумевшая старуха...

*

Заночевали в большом селе.

Пришли без квартирьеров, халупы для постоя приходится разыскивать и отвоевывать самим. Начальство захватило себе по обычаю лучшие дома и махнуло на нас рукой.

Мы с Воронцовым долго бродим по темным переулкам и под каждым окном встречаем сердитое: «Проходи дальше, здесь полно!..»

На противоположном конце деревни, у самой церковной ограды, мы с последней надеждой в измученных сердцах робко стучали в чистенький домик.

В окно выглянула женская голова:

— Что угодно?

— Пустите переночевать.

— Сколько вас?

— Двое.

— Вы кто: солдаты или офицеры?

— Вольноопределяющиеся.

Голова скрылась, окно захлопнулось. Воронцов закуривает папироску и что-то сердито бормочет.

Очевидно, началось совещание с мужем. В ожидании ответа я опускаюсь на завалинку и моментально раскисаю. Адски хочется спать.

Хлопает калитка, и нас зовут. Оказалось, попали в квартиру местного учителя. К нашему удивлению, тут уже разместились фельдшер и подпрапорщик со своими денщиками, Анчишкин и Граве. Пьют чай.

Нас усадили за стол.

Стакан горячего чаю сразу отогнал сон и ослабил гнетущее ощущение усталости.

Я с любопытством приглядываюсь к обстановке.

В углу этажерка с книгами, на стенах — фотографии Мицкевича, Сенкевича, Оржешко, Пшибышевского, Конопницкой и многих русских писателей. Во всем убранстве помещения чувствуется интеллигентная рука хозяина. Нет ничего лишнего, мещански крикливого, бутафорского.

Хозяин, типичный польский интеллигент лет пятидесяти, любезно угощает нас и осторожно осведомляется насчет фронтовых пертурбаций.

Воронцов, как всегда, схватился спорить с Анчишкиным и Граве.

Фельдфебель, раскрасневшийся от чая, хвастливо уверяет, что «русская армия скоро очухается и опрокинет врага беспременно».

Подпрапорщика, видимо, раздражает и белизна скатерти и безукоризненная чистота комнаты: «живут, дескать, как сыр в масле, а ты за них воюй».

Он капризным тоном избалованного ребенка придирается к хозяину.

— Ну, скажите мне, пан, что это такое?.. Вы — умудренный житейским опытом интеллигентный человек, вы хорошо знаете местный край — об'ясните вот мне: почему все здешние жители либо жулики, либо шпионы

и дезертиры? Почему поляки и жиды из нашей армии бегут к немцам, а из немецкой бегут к нам? Где у них совесть?

— Бегут—значит не хотят воевать,—сдержанно отвечает хозяин.

— Что вы говорите? — упрямо хрипит подпрапорщик. — Да какое они имеют право «не хотеть»? Я не захочу да другой не захочет тады кто жа будет защищать родину?

Старик скорбно качает головой, подходит к этажерке, снимает изящный томик в тисненном переплете и, перевернув несколько страниц, читает: «Дзяды» Мицкевича».

Покончив с ужином, фельдфебель уходит в соседнюю комнату спать. За ним поднимается и подпрапорщик. Уходя, он бубнит что-то насчет крамольных стихов, которые нужно сжигать.

Остаемся: я, Граве, Анчишкин, Воронцов и хозяин с хозяйкой. В комнате становится как-то уютнее, легче дышать... Подпрапорщик стеснял и нас, и хозяев.

Голос хозяина звучит все тверже и жестче. Очарованный прекрасной поэмой, я уже забываю, что передо мной скромный провинциальный интеллигент.

В моих глазах чтец сливается с автором бессмертного творения и превращается в польского трибуна, бросающего огненно-гневные слова «братьям-москалям» от имени передовой польской интеллигенции.

Быть может, на иных проклятье воли божьей.
Быть может, кто крестом иль чином осрамлен
Пожертвовал душой свободной и в прихожей,
В прихожей у царя гнуть спину осужден.

Подкупным языком царя, быть может, славит.
Быть может, радуясь судьбе своих друзей,
Льет кровь мою, в отчизне плахи ставит,
Хвалясь перед царем работой палачей.
Когда из дальних стран, где вольные народы,
Мои элегии на север залетят,
Звуча над краем льдов — пусть вам зарю свободы,
Как журавли весну, они благовестят.

Слова, точно капли раскаленного воска, капают в душу, чтобы осесть навсегда. Свинцовая тяжесть сжимает грудь, сердце.

Я бросаю короткий взгляд в сторону товарищей: Анчишкин и Граве — невозмутимый Граве! — сидят насупившись и, кажется, совсем не дышат.

Воронцов зажал в ладонях рук склоненное над столом лицо. Из-под опущенных век его катятся крупные горошины слез. Воронцов плачет. О чем? О повешенных декабристах, друзьях великого польского поэта? О свободе, которая существует лишь в грезах восторженных романтиков?

Воронцов плачет. И никнет к столу — низко-низко — голова с плотно закрытыми слезящимися глазами.

Хозяин откашлялся и продолжает рубить остановившуюся тишину комнаты проникновенным пафосом незабываемых, неповторимых строк, которые здесь, в горячке отступления, контр-атак, в атмосфере все возрастающего безумия бойни, приобретают особенный смысл.

Узнаете меня по голосу. Коварно,
В оковах ползая, я с деспотом хитрил,
Но вам все тайны чувств открыл я благодарно
И кротость голубя для вас всегда хранил.

Я выливаю в мир весь яд из этой чаши,
Едка и жгуча речь моя — затем, что в ней
Вся кровь, вся горечь слез, слез родины моей,
Пускай же ест и жжет—не вас, но цепи ваши.
А если я от вас услышу жалоб рой,—
Сочту их лаем пса, который привыкает
Носить покорно цепь и наконец кусает...
И руку, рвущую ошейник роковой...

Кончил. Откашливается. Протирает клетчатым носовым платком вспотевшие стеклышки пенсне.

Воронцов стремительно срывается с места и убегает в кухню.

Я спрашиваю хозяина:

— Почему вы не эвакуируетесь? На-днях здесь будет неприятель. Вас могут ограбить, убить, арестовать, мало ли что.

Лучистые глаза старика внимательно останавливаются на мне.

И как-то тихо, точно в раздумьи, он говорит:

— От беды и от смерти своей не убежишь...

И в этой его фразе нет ни позы, ни бахвальства.

За окном розовеет заря. Отсветы лампы в провалах оконных впадин и на стенах бледнеют. В восточном направлении устало гремят пушки.

Скоро опять в поход. Нужно немного отдохнуть.

Прощаемся с хозяином тепло, как старые друзья.

*

На привале разговорился с батальонным кантером. Из мелких чиновников, кое-что читал. Скользкий и неприятный тип. Говорит без умолку, точно граммофонная пластинка во рту заведена.

— Да, знаете ли, заедает среда нашего брата. Нервы честного человека притупляются на войне, и он готов всякую пакость сделать.

— Я вот читал когда-то записки Вересаева о русско-японской войне. Читал «Красный Смех» Леонида Андреева, возмущался, протестовал против грабежа мирных китайцев.

Все было, знаете.

Я говорил: как смеют русские солдаты разрушать кумирни, эти святая-святых китайца? Как смеют русские солдаты топтать рисовые поля? Как смеют?

А теперь я (еще года нет, как на войне) огрубел, очерствел до неузнаваемости.

Теперь на моих глазах ежедневно идет такое мародерство, какое и не снилось Вересаеву, а мне хоть бы что! Как с гуся вода!

Грабят не каких-нибудь там косоглазых китайцев, о которых я имею самые смутные представления, а наших родных, русских мужиков, насилуют девок и баб, и, представьте себе, мне никого и ничего не жалко. Чорт с ними со всеми! Война как война! Лес рубят — щепки летят!

Подходит поручик Стоянов и ввязывается в наш разговор.

Заговорили опять о записках Вересаева о русско-японской войне.

— Таких, как Вересаев, расстреливать нужно! — свирепо ворочая небритыми скулами, говорит Стоянов. — Вересаев всю русскую армию оболгал...

Низко нависли тяжелые глыбы свинцовых облаков и легли неподвижно над землей.

Косые полосы дождя целый день без устали чешут согнутые солдатские спины.

Ноги скользят по липкой грязи изглоданного ливнем шоссе.

Промокшая насквозь одежда липнет к телу, давит к земле.

Тяжко итти — неведомо куда, неведомо зачем — в такую погоду с полной походной выкладкой, в стоптанных, разбитых сапогах.

Устало, вкривь и вкось, мотаются на шоссе, обходя глубокие лужи и водомоины, серые фигуры продрогших, измученных беспокойным гоном людей.

Заболевшие...—чем?—покорно ложатся лицом вверх где-нибудь в сторонке от дороги в мутную кашицу грязи. И ждут... Чего? Кого?

Одних подбирают санитарные двуколки. Других оставляют на произвол судьбы.

К ночи пришли в местечко.

В нем раньше стоял штаб дивизии, штаб артиллерийской бригады, были походные госпитали и другие учреждения.

Теперь пусто. Все выехали.

Выехала и часть жителей, но многие остались на месте.

Разбрелись по хатам. Жарко натопили печи. Сняли и развесили для просушки пропитанную дождем амуницию.

Варили, парили, жарили безхозную «скотинку», захваченную по пути, брошенную беженцами в местечке.

И заснули в натопленных хатах под неумолкаемый шум дождя.

Спит весь полк. Ни дозоров, ни сторожевого охранения, ни дневальных, ни дежурных по ротам. Мертво...

Беспорядочные выстрелы раскололи сонную мглу ночи. Электрическим током отдались в клубках размягченных нервов.

Сонные, полуголые, с невидящими глазами, ошалело метнулись к винтовкам, к патронташам, к пулеметам, к коробкам с лентами, к двуколкам, к лошадям. Давя друг друга, с матерком всовывали ноги в свои и чужие штаны, сапоги. На части рвали шинели.

В окна и в двери турманом выбрасывались на улицу, чтобы встретить заспанными глазами свой предсмертный миг, проглотить посланную врагом свинцовую закуску.

Невидимый в темноте противник густо засел во всех переулках и залпами прочищает просторы улиц.

Ротный и Табалюк с руганью собирают людей. Гонят в дыру плетня на задворки.

На корточках, ползком по лужам, по грязи, тянулись к кладбищу.

Залегли в выступах могильных холмиков и склепов под прикрытием крестов и каменных плит памятников.

Командиры возбужденно кричат, разыскивая своих стрелков. Налаживают боевой порядок.

— По местечку пачками! Начинай!

Дождь перестал хлестать.

Ветер развеял пелену облаков, обнажил дрожащий диск серебристой луны.

Рассеялась тьма. Косматые тени пролегли на кладбище от высоких, как виселицы, деревянных крестов.

— Прицел постоянный!—кричит ротный, ловко ныряя, протаскивая гибкое стройное тело между могил.

Из местечка доносится разнобой человеческих вскриков, оголтелый собачий лай. Звон разбиваемых оконных стекол и глухие тяжкие удары взрывов. Противник выкуривает из хат ручными гранатами оставшихся там и отстреливающихся стрелков.

Рядом со мной на мокрой гриве рыжей травы лежит клоун Симбо. Он полуодет. В полосатых тиковых подштанниках, прорванных на причинном месте, и босой, он так комичен в мертвенно-суровой обстановке кладбища при свете луны.

Мимо проходит фельдфебель.

Бьет Симбо обухом клинка по пяткам и сердито ворчит:

— Куда стреляешь, чортов водоглотатель?! Целься ниже.

Симбо поворачивает к нему обрюзгшее заспанное лицо.

— Как тут стрелять? В халупах еще, может, свои остались. Мирные жители.

— Ты у меня поговори еще, паскуда! Твое дело рассуждать? Какие там тебе свои? Свои, кои остались, те мертвые уж. А мирные жители—чорт с ними! Кто не велел выезжать отсюда? Был приказ покидать всем военную зону. Остались — пеняй на себя.

Симбо, выпуская пулю за пулей, остервенело щелкает затвором.

Фельдфебель ползет от нас в четвертый взвод. Грозит там кому-то расколоть пустую башку.

Светлеет.

— Эх, батареи нет! — вздыхает кто-то. — Вот саданули бы.

Пули стелются ниже.

Многие ранены.

На мутной стене небосклона качаются округлые линии распускающейся зари.

По цепи передается приказ об отступлении перебежками.

Звеньями медленно отходим на юго-восток. Наши пулеметы, прикрывая отступление, жарко дышат в местечко, взбивая на крышах солому.

За кладбищем уютная долина.

Пули свистят высоко над головами.

Благополучно выходим из губительного огня.

Кто-то из нашего взвода рассказывает.

— Симбу-клоуна, братцы, убило. Прямо в рот ахнуло разрывной. Весь затылок вырвало; мозги как брызнут — мне все глаза залепило.

Чей-то фальцет отвечает:

— Царство небесное! Хороший был парень, увеселительный и простой. Лучше фитьфебеля пригвоздило бы, гниду. Смерть у ево ослепла, што ли, никак не найдет. Везде тамашится, а все цел, точно заговорен.

*

Снабжение поставлено из рук вон плохо — солдаты голодают.

Двое из нашего взвода — Шаньгин и Дорошенко — откуда-то притащили из местечка годовалоого борова. Палить щетину некогда. Разрубили топором на куски прямо со щетиной,

Кровоточащие куски свиного мяса ловко тискают в вещевые мешки, в котелки. Руки у них в сгустках крови.

Подходит взводный Никитюк, ввинчивает бегающие глазки на распластанную парную свинину.

— Помогай бог, хлопцы! Мародерничаете, защитнички, едри вашу кочку!..

Взводному дали кусок. Он отходит с довольным видом.

После взводного является фельдфебель и просит «кусочек тепленького»—дают и ему. Денщик ротного, пронюхав насчет борова, требует кусочек для его благородия «на котлетку». Получил...

Шаньгин, облизывая толстые вспотевшие губы, бубнит, закручивая мешок:

— Вот черти! Сичас ешшо от батальонного за мясом пришлют. Всего борова упрут на коклеты начальству, нашему брату опять придется итти промышлять.

— Что ж, сходим, не велик труд!—смеется Дорошенко, подмигивая одним глазом. — Я видел—там еще свинья осталась. Жирная, стерва! Пудов на десять будет!

Вмешивается отделенный.

— Вы, ребя, осторожней с энтим делом, а то за мародерство взгреть могут.

Шаньгин гримасничает, ворочая желваками.

— Гоняют, как сполошные, с места на место, протрясли все брюха, а кормить—не кормят. Рази так можно? Для солдата пишша первое дело.

— Даром, что ли, кровь проливали?—бормочет Дорошенко.—Жизней своей рискуем, а тут свинью покушать не моги.

Вечер тихий и дремотный.

Кружимся в низкорослом лесу, окутанном густым мягким туманом. Туман плотно оседает на землю, пылит в лицо.

Нас двинули вдоль фронта. На левом фланге отступление приостановлено. Инициатива боя переходит в наши руки. Идут непрерывные контр-атаки. Немцы дерутся с остервенением.

Мы идем на поддержку.

Старик-украинец, мобилизованный нами в проводники, сбился с дороги и ведет нас, видимо, сам не зная куда.

В густой чаще и кустарниках на лошади ехать нельзя, офицеры спешились и идут вместе с нами.

Командир полка идет впереди всех и через каждые пять минут грозит срубить голову бестолковому проводнику. Растянулись цепочкой на несколько верст. Кружась, выписали какую-то замысловатую восьмерку, и... первая рота столкнулась лицом к лицу с пятнадцатой, шедшей в хвосте. Получилась натуральная сценка из водевиля.

— Какой части, земляки? — спрашивает командир полка усталым голосом.

— Лейб-гвардии Н-ского, — отвечает пятнадцатая рота.

Командир полка стоит в картинной позе с раскрытым ртом.

— Вот так фунт!

А потом минут десять разносит пятнадцатую роту и проводника.

Все слушают ругань с удовольствием. Она дает передышку.

Закурили и снова двинулись в путь. Туман все гуще и гуще. Сверху спускается косматая тьма; деревья и кусты сливаются с землей.

Командир полка недоволен проводником.

— Смотри у меня, Иван Сусанин! Я тебя, сукина сына, проучу! Если через два часа не выведешь из леса, так я тебя!..

Проводник роняет ненужные сюсюкающие подобострастные слова оправдания.

Солдаты вышучивают командира полка.

— Наш-то Севасьян не узнал своих хресьян... Ткнулся своей пенсной в пятнадцатую роту и вообразил, что это—сибирские стрелки какие-нибудь...

Проходим мимо пятнадцатой...

— Мотрите, более не попадайтесь! — насмешливо говорят солдаты.

Эх, скорей бы конец пути! Спать хочется, есть хочется, пить хочется — и все сразу...

Намокшая одежда облегает тело, как кольчуга, тянет к земле. Тело просит покоя, а нужно итти.

Ветки деревьев, отводимые в сторону впереди идущими товарищами, бьют сразмаха в лицо, сбивают шапку, которую в темноте долго приходится искать...

*

Третий батальон по «ошибке» обстрелял свой аэроплан. Летчик возвращался из глубокого тыла противника, где сбросил две бомбы и выдержал сильный воздушный бой. Пролетев немецкие окопы, он вздохнул свободной грудью и стал планировать над нашим лагерем довольно низко.

Его подбили. Изрешетили весь кузов, крылья; пилоту прострелили плечо и ногу.

Скандал на весь корпус.

Командир третьего батальона, полковник Загуменный, уверяет, что солдаты открыли огонь по аэроплану без его ведома и приказания, стихийно подчиняясь чьему-то нелепому выкрику: «Бей немчуру!»

Командир полка, не стесняясь присутствием солдат, полчаса распекал Загуменного:

— Что такое ваш батальон, господин полковник, я вас спрашиваю? Хунхузы это, с позволения сказать, или императорская гвардия? Ежели это хунхузы, то отправляйтесь вы к чортовой бабушке на большую дорогу купцов грабить; а ежели это гвардия, то ведите себя, как надлежит вести... Вы покрыли полк несмываемым позором. Об этом могут завтра написать в газетах...

Загуменный начал смущенно оправдывать солдат. Это еще больше рассердило командира полка:

— Можно не уметь стрелять, колоть, рубить, ориентироваться по карте, но как же можно не уметь отличить своего от врага? Какой частью тела глядели ваши солдаты, когда расстреливали лучшего летчика нашей армии? Я вас спрашиваю: какой?! Неужели эти олухи царя небесного не могут отличить белый круг от креста? Зарубите отныне каждому на носу, что немецкие аэропланы имеют снизу на крыльях отличительный знак в виде круга. Наши—черный крест. При рецидиве этой мерзости — всех под суд! Расстреляю!

...Батальонный думает восстановить свое реноме, разыскивает виновников «недоразумения». Никто не находится.

Наш взводный резонерствует:

— Надо бы об'явить официально, что солдат, подавший команду палить по аэроплану, производится в офицеры и получают георгия всех степеней разом. Тогда виновники себя выкажут. А когда выкажут — их на гауптвахту. Иначе не найдешь!

— Не поверят! — возражает фельдфебель.

— Поверят! — радостно говорит взводный. — Ей-богу поверят! Народ у нас ужасно глупый и легковерный...

*

Немецкая дивизия (слишком зарвавшись) продвинулась дальше, чем следует, и обнажила свои фланги.

Мы отрезали и обложили ее плотным кольцом.

Немцы не рассчитывали встретить здесь серьезное «дело». Они думали, что мы все еще находимся во власти охватившей нас паники.

Просчитались, конечно.

Мы мстили этой дерзкой дивизии за все неудачи последних недель, за все поражения, за раненых и павших в бою товарищей, за бессонные ночи... За все, за все. Каждым залпом перекрестного огня мы злорадно кричали:

— Вот вам, колбасники! Вот вам за то, что вы гоняли нас по сорок километров в сутки без передышки!

От дивизии осталось мокрое место.

В плен не взяли ни одного человека. Раненых прикалывали.

Немцы держались великолепно. Командный состав выше всякой критики.

Даже смертельно раненые, умирающие, обливая нас жаром воспаленных немигающих глаз, кричали свое:

— Deutschland, Deutschland über Alles! [1]

Массовый психоз или подлиный национальный фанатизм?

Напускная, палочная воинственность или искренний энтузиазм?

*

Бой кончился. Кое-где вспыхивают запоздалые одиночные выстрелы.

Недавние рыцари, превратившись в шакалов, без единой крупицы воинственного пыла в лицах, наперегонку снуют около убитых и раненых. С одинаковым рвением выворачивают карманы своих товарищей и врагов.

Молодой немецкий офицер, одетый с иголочки, похожий на купидона, лежит на траве в луже крови. Я, приняв его за убитого, нагибаюсь, чтобы снять великолепный полевой бинокль.

«Мертвый» офицер, тяжело разомкнув веки, прожигает меня злым взглядом слезящихся глаз и уверенно вытягивает правую руку с крепко зажатым в ней браунингом.

Неприятный холодок пробегает по телу. Кажется, что это—галлюцинация.

Выстрел я услышал уже после того, как кусочек свинца пробуравил мне правое плечо.

Падая, видел впившиеся в меня глубокие лихорадочногоревшие глаза, уже подернувшиеся маслянистой тусклостью смерти, и кусочек синего неба.

Вторым выстрелом он взорвал свою черепную коробку.

---

[1] „Германия, Германия превыше всего!“

Помню: подбежал рыжий ефрейтор четвертого взвода Акимов и, по-мужицки крякнув, всадил мертвому офицеру штык между ребер и поднял его на воздух, как ржаной сноп.

— Не надо, Акимов! — пробормотал я. — Не надо, голубчик!

*

У меня сквозное ранение правой стороны груди и, кроме того, пробита левая нога выше колена.

С наслаждением отдыхаю в походных парусиновых бараках полевого госпиталя.

Ночью раны болят сильнее, чем днем.

Бессонница. Врач угощает бромом, морфием, опием. Противно, но говорят: необходимо.

В выходное отверстие обеих ран утром и вечером вставляют марлевый жгут для вытяжки гноя.

Каждая перевязка — пытка.

Стискиваю зубы от боли, и каждый раз из глаз катятся крупные слезы. Лучше бы этот немецкий купидон укокошил меня совсем!

Сестра милосердия Шатрова, симпатичная пройдоха, утешая меня на перевязках, говорит:

— Потерпите, голубчик! Будьте мужественны до конца. Помните, что все это вы переносите во имя родины, веры, царя.

Слова ее кажутся мне наглой иронией. Она, вероятно, читает в моих глазах, знает мое отношение к этим фетишам.

Ординатор Вайнштейн утешает охающих и плачущих на перевязках по-иному:

— Ну, господа, как вам не стыдно впадать в подобный сантиментализм!

Ворочая зондом в пробитых грудях, в шеях, в ногах, в животах своих пациентов, которые орут благим матом и плачут, он забавно резонерствует:

— Ужасно, знаете ли, любит русский человек поплакать...

•

Прошел через шесть полевых госпиталей и попал наконец в уездный городок. Это — юго-западный Окуров. Все русские уездные города похожи друг на друга, как два тухлых яйца.

За последние недели такая масса впечатлений и переживаний, что, кажется, сознание не сможет все вместить; передо мной, как на экране, проходит прифронтовая полоса во всем ее красочном многообразии.

Чем дальше от передовых позиций, тем больше всякого рода военных учреждений, тем больше в этих учреждениях ненужного, примазавшегося люда.

При взгляде на шумное море пестрых маркитантов кажется, что вся мобилизованная буржуазия и интеллигенция окопалась в тылу.

Рвачи, мародеры, шкурники, спекулянты, шулера, карьеристы и альфонсы всех мастей и народностей России, как мухи, облепили штабы, лазареты, управления, канцелярии, интендантства, склады, саперно-инженерные конторы, снабженческие пункты. Одни одеты с иголочки, другие в потертом, лоснящемся замасленном платье.

И вся эта наглая, прожорливая, беспокойная стая хамелеонов неумолчно шумит, суетится, обсуждает проблемы побед и поражений.

Хамелеоны в курсе решительно всех событий, все знают из «достоверных» источников, они до смешного самоуверенны и развязны.

При встрече с начальством расстилаются до земли. За глаза говорят о начальстве пренебрежительно, играют в либерализм.

*

Лазареты прифронтовой полосы чуть не ежедневно осаждаются журналистами, «специальными» военными корреспондентами, репортерами, фотографами, начинающими писателями.

Все эти «работники» пера, как и маркитанты, одеты в защитный цвет.

Они навязчивы, юрки, неутомимы, изобретательны, нахальны и необыкновенно жадны до сенсаций. Они буквально выматывают душу раненым. Просят автографы, выспрашивают...

— Как вы сказали? Ах, повторите, пожалуйста, еще раз!.. Что вы сказали?

Раненых солдат угощают шоколадом «Сиу» и асмоловскими папиросами.

Солдаты добродушно курят папиросы, уплетают за обе щеки шоколадные плитки и в знак признательности врут корреспондентам в три короба о своих подвигах, о немецких зверствах.

Эти «сведения», купленные у раненых за асмоловские папиросы и шоколад «Сиу», «писатели» земли русской печатают в газетах и журналах.

На этих «данных», добытых «собственными» и «специальными» корреспондентами, воспитывается русское

«общество». По этим «данным» будущие историки составят «историю» войны 1914 года.

„Поверили глупцы, другим передают.
Старухи вмиг тревогу бьют,
И вот общественное мненье“.

Так было сто лет назад. Так и сейчас. Только теперь вместо комических старух-сплетниц, которыми гордилась когда-то Москва, подвизаются на этом поприще молодые люди и зрелые мужи с университетским образованием.

*

Лежу в офицерской палате. В томительном однообразии ползут дни. Палату обслуживают санитарки. Легко раненые офицеры охотятся на них в коридорах, затаскивают в ванну, запираются там на крючок. Когда один запрется, другие на цыпочках подходят к двери, в замочную скважину подсматривают.

Мой сосед по койке, капитан Борисов, человек весьма ограниченный, некультурный и по причине своей ограниченности несносный патриот, попросил сестру принести книг для чтения.

Сестра принесла ему томик Мопассана в русском переводе.

Борисов раскрывает книгу и читает.

А через полчаса он, одержимый невиданным приступом патриотизма, мечется на койке и изрыгает цензурные проклятья вперемежку с нецензурными.

— Чорт знает что такое печатают! Я удивляюсь, господа, почему не запретят этой мерзкой книжки? Что смотрит государь? Где у нас в конце концов цензура?

— В чем дело, Борисов? Об'ясните?—громко просит нервный ротмистр с сабельным шрамом на подбородке.

Борисов выразительно читает:

«Драться? Резаться? Убивать людей. В наше время, при нашем просвещении, при обширности нашей науки, при высокой степени нашего философского развития, достигнутого человеческим гением, существуют особые школы, в которых учат убивать людей с совершенством, убивать несчастных, неповинных людей, обремененных семьями.

И удивительнее всего то, что народ не восстает против правительства, что все общество не возмущается при слове «война»! Военные—бичи мира! Так вот—если уж правительства пользуются привилегией распоряжаться смертью народов, нет ничего удивительного в том, что народы иногда захватывают право распоряжаться смертью правительства.

Почему бы не призвать правительство на суд после каждого об'явления войны?

Если бы народ не позволил бессмысленно убивать себя, если бы он употребил оружие против них, которые дали ему его для убийства, в тот же день война умерла бы».

Борисов обводит всех недоуменно - вопрошающим взглядом и сердито хлопает книгой о стол. Зазвенел и подпрыгнул на столике стакан.

Офицеры смущенно молчат.

— Да, книжица, кажись, тово... — неуверенно бурчит кто-то из угла.

Подпоручик Кутепов подбегает к столику, берет злополучный томик в руки, раскрывает и, перелистав несколько страниц, кричит:

— Внимание, господа! Вы только послушайте, что он здесь пишет:

«Землетрясения, погребающие население под развалинами домов, разбушевавшаяся река, уносящая утонувших крестьян вместе с тушами быков и бревнами от размытых строений; победоносное войско, которое избивает всех, кто защищается, уводя в плен остальных, грабит именем сабли или славит бога пушечной пальбой — все это страшные бичи, разрушающие всякую веру в высшую справедливость, в провидение и в человеческий разум, ту веру, которую нам с детства стараются внушать».

Кутепов кончил. Опять все шумят, торопясь высказать свои мысли, вызванные книгой.

И, заглушая шум всех голосов, Борисов ругает Мопассана непотребными словами, часто вспоминая мать великого писателя, которая едва ли была причастна к разбираемой книге.

Слева от моей койки поднимается на локтях обычно молчавший штабс-капитан Измайлов. Волнуясь, говорит:

— Как можно ошибаться, господа! Я, например, до сих пор считал Мопассана приличным писателем, а он оказался...

— Это явный социализм, анархизм, подстрекательство! — замечает кто-то.

— А представьте себе, господа, вдруг эта книжка попадет нижним чинам, — ворочая кровяными глазами, кричит Борисов. — Что тогда будет? А?

Штабс-капитан Измайлов успокаивает.

— Успокойтесь, господа! Это ведь не про нас писано; это про немцев.

Замечание вызывает новый взрыв реплик, и спор принимает другой оборот.

Книжка идет по рукам. Шелестят крамольные страницы.

Слово берет подпоручик Кутепов.

— В том-то и дело, господа, что Мопассан говорит здесь не о немцах и не о французах даже, а вообще... Значит и нас в некотором роде касается как-будто.

— Нижние чины, если и прочтут эту книжку, все равно ничего не поймут, — вставляет штабс-капитан Измайлов.

— Ну, не скажите, — протестует Борисов. — Они только притворяются перед нами идиотами, а когда что в их пользу, так они, если не умом, нутром оттадают. Среди нижних чинов, брат, такие фрукты попадаются, что больше нас с вами знают. У меня, например, в роте был один сукин сын, так он всех философов знал наизусть. Вот тебе и нижний чин!

Борисов предлагает сочинить и подать по начальству коллективный рапорт с просьбой об из'ятии Мопассана из обращения, «хотя бы на время войны».

Одни соглашаются. Другие возражают.

Как никак, Мопассан все же классик и европейская величина... Будь это наш отечественный автор в роде Лажечникова или Загоскина — тогда бы иное дело. Скандал может получиться.

Тупоумие и черносотенство проявляются здесь в неприкрытой форме.

Эвакуация в Киев. Наша палата едет почти в полном составе. Фельдшера, об'явившего радостную весть, хотели качать.

Киев. Вокзал.

Нас в вагоне приветствует представитель какой-то киевской «патриотической» организации. Жмет руки, угощает душистыми папиросами.

Расспрашивали про город.

*

Киев утопает в буйно разметавшейся зелени садов.

С повышенным любопытством в'езжаю в это прославленное гнездо монархистов и черносотенцев. Киев—резиденция многих рюриковичей и новоиспеченных аристократов.

Везут с вокзала на извозчиках. Приличные лакированные пролетки. Резиновые шины мягко скользят по ровной чистенькой мостовой, на рессорах покачивает, точно в лодке.

Тело охватывает приятная истома.

Больше года не ездил на извозчиках, и мне кажется, что наш возница слишком быстро гонит и непременно вышибет на повороте. Но все проходит благополучно.

Сопровождающий нас санитар с возмущением рассказывает:

— Извозчики здесь ужасно бессознательные. Не хочут раненых возить с вокзала...

Нас это заинтересовывает.

— Что же, они у вас против войны? Социалисты левого толка? — улыбаясь, спрашивает мой сосед по пролетке.—Или сектанты?

— Какое, — машет рукой словоохотливый санитар.— Они у нас просто сволочь. Есть предписание — возить раненых бесплатно, а они не хочут. Когда приходит санитарный поезд, ревет сирена. Это сигнал всем извозчикам ехать немедленно на вокзал в распоряжение начальника эвакуационного пункта... А они, как только заслышут сирену—все в рассыпную: кто домой, кто подальше от центра в глухой переулок. Говоришь ведь им, что для отечества стараться надо, да рази они пекутся об отечестве! С полицейскими сегодня собирали, чтобы вас везти. Чистая беда с ними, с иродами...

Мы молчим. Болтовня санитара надоедает, хочется наблюдать город.

Извозчик, прислушивающийся к нашим разговорам, поворачивает иконописное лицо в клочьях спутанной черной бороды и оправдывается:

— Опять же взять, к примеру, овес: цена кусается. Мало что защитники. Всех на шармака не перевозишь. Война, може, пять лет простоит, ну-ка, попробуй-ка, повози даром. Сам пешком пойдешь.

*

В Н-ском сводном эвакуационном госпитале нас не приняли. Нет места.

Наш чичероне рассыпался в извинениях.

Едем в другой госпиталь на противоположный конец города.

На землю оседает мягкий летний вечер.

В сиреневой выпуклости неба загораются первые звезды.

Улицы залиты публикой.

В центре по обеим сторонам улиц не идет, а шествует—именно шествует—сытая, крикливо и пестро одетая толпа.

Вот и знаменитый Крещатик.

Парижские и лондонские туалеты чередуются с украинскими белыми рубашками в вычурных узорах.

Звонкий смех, шутки, возбуждающий гомон толпы.

Киев веселится, Киев отдыхает, Киев развлекается, Киев флиртует.

Витрины магазинов бросают в улицы веера электрических лучей и нахально выпячивают бриллианты, жемчуга, изумруды, золото, тяжелые складки шелков, бархата, тончайших тканей...

Мой сосед, прапорщик Мочалов, сверлит панельную толпу голодным, пьяным, сосредоточенно-зловещим взглядом.

Я смотрю на его заостренный хищный профиль, отливающий синевой, и мне кажется, что он сейчас вот забудет о своей перебитой ключице, ринется в гущу фланирующего мещанства, схватит как древний скиф самую хорошенькую киевлянку в об'ятья и будет ее насиловать... Почему он этого не может? Он был в окопах. Видел смерть и безумие. Он теперь уже «по ту сторону добра и зла». Что его удержит? Закон? Мораль? Ничего этого нет. И Мочалов знает об этом.

В каждом квартале в раскрытые пасти окон несется на улицу хаос музыкальных мелодий.

В Киеве удивительно много музыки. Где-то мягко и успокаивающе рокочет рояль.

Я уже в госпитале. Перелистывая свои дневники, напрягаю память, восстанавливаю и записываю события вчерашнего вечера. Я немножко набедокурил...

...Живописный домик-игрушка ярко-канареечного цвета в стиле Модерн. Видимо, только-что отремонтирован или заново отстроен.

Распахнутые окна занавешены дорогими воздушными, как тонкое кружево, голубыми шторами.

В зале матово-бледное мерцание голубой люстры. Скользят белые фигуры женщин. Нервный смех и говор гостей.

Бурная, четко исполненная прелюдия и затем мягкий гибкий цыганский баритон мощными взлетами выбрасывает в окна романс Тарновского.

Под окнами толпа зевак. Аплодисменты и крики.

Кровь приливает к мозгам.

В сознании мгновенно встают и нагромождаются друг на друга черно-багровые смерчи вздыбленной земли, зияющие пасти воронок, фугасы, бомбометы, минометы, цеппелины, истребители, железные вихри и потоки горячего свинца, громы, грохоты, лязги, трясения, обвалы, контузии, визги, ревы, стоны, хрипы, хрусты костей... Синие поленницы гниющих трупов, трупные черви, наползающие из глазных впадин... Крошево человеческого мяса, прожеванное гильотиной войны, обрубки ног, культяпки... Обмороженные носы, щеки, пальцы. Голод... Вши...

Страшные видения принимают гигантские размеры, нахально лезут в голову. Распирает упругой пружиной виски, вот-вот не выдержит, лопнет черепная коробка!

И опять все существо пронизывает уже знакомая щемящая тоска.

— Да, как они здесь смеют?!

Подхваченный какой-то посторонней силой, я соскакиваю с пролетки и прыгаю на костылях к канареечному домику.

— Куда ты? Стой! Стой же!..—испуганно кричит мне вслед прапорщик Мочалов.

Он останавливает извозчика и бежит за мной, не понимая, в чем дело.

Как-раз в тот момент, когда баритон брал высокую ноту, я остановился под окном, двинул тяжелым дубовым костылем по раме, разбил ее вдребезги и, размахнувшись, кинул костыль в голубую гостиную.

Будь у меня в тот момент под рукой бомба, я, не задумываясь, кинул бы ее...

Музыка оборвалась. Баритон смолк. В гостиной забегали, засуетились испуганные люди. Кто-то завопил: «Караул»...

— Ты с ума сошел!—кричит мне Мочалов в самое ухо и крепко хватает меня своей единственной здоровой рукой за плечо.—Ты ведешь себя, как Пуришкевич в государственной думе. Это безобразие! Позор!

Я ничего не соображаю. В душе моей нет больше ни злобы, ни боли, нет никаких желаний и ощущений. Силы покидают, хочется спать.

— Господа! Помогите, пожалуйста, втащить его в пролетку; видите, он в приступе горячки.

Это Мочалов.

Но голос его чужой, сиплый. Мне кажется, что это не про меня.

Обморок легкий и освежающий, как сон. На рессорах приятно покачивает.

Извозчик опять что-то бормочет про овес, который «нонче кусается».

Какой глупый извозчик. Что за чепуха? Как может овес кусаться? Спать... Спать...

*

Госпиталь светлый и просторный.

Добродушный доктор психо-невролог усадил меня на стул, выслушивает, выстукивает, колотит ребром ладони по вытянутой моей ноге.

— Помимо всего прочего, у вас, батенька, нервы, нервы... Эх, молодежь, молодежь... Никуда у вас нервы не годятся.

Я слушаю молча.

Доктор продолжает:

— Недельки через три ваша ранка зарубцуется совсем. Мы вас выпишем и дадим двухмесячный отпуск для восстановления сил. Хватит с вас, отдохните, пусть другие теперь понюхают пороху. И мой совет вам, милейший: уезжайте куда-нибудь подальше от городского шума, в самую глушь, в деревню, к истокам жизни. И чтобы, главное, никаких книг, никакой музыки, никакого воспоминания об этом грешном Вавилоне-городе. Уезжайте в Поволжье, в леса. Места там чудесные. Купите ружьишко, займитесь охотой...

— Как лейтенант Глан? — спрашиваю, улыбаясь.

— Да, да... Как лейтенант Глан. Ведь гамсуновские герои —это тоже неврастеники, больные, беглецы от городской жизни. Лес вам поможет лучше всяких ванн и электричества.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

„Вы и меня вовлекаете в дела вашей ненависти; и моя кровь пролилась в диких схватках; но я накажу вас такой страшной пеней, что все пожалеете о моей утрате. Я буду глух и к просьбам и к оправданиям, ни слезы ни мольбы не смягчат меня, а потому и не прибегайте к ним“.

Шекспир

Кончился срок отпуска. Опять еду на фронт. Война, кажется, затянулась надолго. Тыловые патриоты охрипли от воинственных криков, но кричат все еще дружно и с возрастающей злобой.

Настроение деревянное. Знаю — впереди меня ждут тысячи тяжелых лишений, которые я уже пережил однажды; но путь свой изменить не могу...

Заезжал к матери в Петербург. Боится, что меня на этот раз убьют. Просила «окопаться» в тылу, хотела сама ехать хлопотать; отказать тяжело и не отказать нельзя.

Обняла меня своими дряблыми руками и повисла на шее, такая жалкая и беспомощная, содрогающаяся от рыданий.

Вчера наблюдал на Невском, как «читающая» публика осаждала газетчика, продававшего экстренный выпуск

телеграмм с фронта. Брали нарасхват, но ничего, кроме любопытства, я не видел на лицах читателей. Отходили несколько шагов и тут же читали, пробегали цифры убитых и раненых. И делали это так же равнодушно, как просматривали в свое время известия о бегах, лотерейные бюллетени. Один, жирный, с трехстопным подбородком, похожий на бегемота, разочарованно сказал своей даме в роскошных мехах:

— Пхе, сегодня неинтересная телеграмма! Убитых только четыре тысячи, раненых — семь...

Оглядываясь кругом, видел такие же кислые мины на лоснящихся лицах: все были разочарованы тем, что на фронте слишком мало раненых и убитых.

•

Заходили «проститься» университетские товарищи: Шутов и Миронов.

Шутов работает на орудийном заводе, на оборону, но обороне не сочувствует.

В таком же тупике, как и аз, грешный. Жаловался мне, как ребенок, измученный тиранством своих гувернеров.

— Что же делается на свете? Теперь по-немецки разговаривать нельзя. На-днях в трамвае избили двух знакомых студентов, которые перекинулись несколькими немецкими словами. Я изучал немецкий язык почти восемь лет и теперь не имею права на нем разговаривать. Сколько времени это продолжится? Может быть, десять — двадцать лет? Ну, хорошо, я буду изучать английский язык, чтобы с помощью его приобщиться к мировой культуре; но кто может поручиться за то, что через пять лет не будет войны с Англией? Тогда запретят и англий-

ский язык и будут бить морду тому, кто произнесет хоть одну английскую фразу? Как же быть?

Миронов — человек совсем иного покроя. Оптимист, весельчак; был в университете «идейным» малым. Сейчас—представитель золотой молодежи, которая живет по гениальному рецепту маркизы Помпадур: «Après nous le déluge!» [1]

Он впорхнул ко мне, как бабочка, расфранченный, надушенный, с очаровательной улыбкой на молодом порочном лице и с погонами прапорщика на узких покатых плечах.

Я недолюбливал его и раньше; теперь он кажется мне чудовищным творением снисходительной природы.

С места в карьер начинает рассказывать о своих любовных успехах. Потом, видя, что мне это неприятно, переменив тон, покровительственно говорит:

— Хотите, я устрою вас здесь в одном штабе?

Отрицательно мотаю головой.

Миронов изумлен.

— На кой вам сдался фронт? Все устраиваются в тылу, кто может. В этом ничего предосудительного нет. Здесь тоже нужны люди. А жить здесь несравненно веселее, чем т а м.

Шутов набросился на него с резкими нападками.

Легкая краска заливает холеное лицо Миронова, но спокойным голосом, полным достоинства, он отвечает Шутову:

— Мы во многом ошибались в свое время, друзья мои—в том числе и в выборе пророков и моралистов.

---

[1] После нас хоть потоп!

Пора поумнеть. Жизнь идет мимо аскетических догм и канонов морали. Это необходимо понять.

Шутов поднимается с места и, потрясая кулаками, долго разносит Миронова. Спор переходит в ругань.

По обязанности хозяина примиряю их, но безуспешно.

*

Сегодня я провожу последний вечер в петербургской квартире. Завтра с утренним поездом выезжаю на юго-западный фронт.

С Петербургом все кончено. Больше никто не придет ко мне. Шутов хотел провожать на вокзал, но я отказал ему в этом. Так будет лучше. Проводы всегда действуют на меня удручающе.

В окно виден стройный костяк города, улицы заполняются публикой, масса военных под руку с дамами. Вереницей скользят экипажи, авто. Точно на выставке, демонстрируются соболя, горностаи, песцы, котики, бобры.

Развалившись на мягких подушках, утопая в мехах, влюбленные парочки тесно прижимаются друг к другу.

Вспоминаю вчерашний разговор с «прапорщиком» Мироновым: «Женщины к нам, военным, так и льнут». Это не хвастовство.

*

Захватил с собой в вагон пачку книг и последних журналов.

На этот раз в моей большой пачке не оказалось ни одной хорошей книги. Хорошо сброшюрованные и обрезанные, с изящной, вычурной обложкой, из роскошной бумаги, они поражают своим внутренним убожеством и

гнилью. Они напоминают разрисованных французской косметикой проституток

Какая непроходимая пошлость и ограниченность заливают сегодня литературу!

Развертываю сборничек библиотеки «Театра и Искусства».

Первое, что попадается на глаза — роман в четырех турах вальса «Средь шумного бала».

Героиня романа, томно вздыхая, говорит вальсирующему с ней кавалеру:

«Не наступайте на меня так решительно, я ведь не Галиция».

С гадливостью швыряю книгу под скамейку, нервно перелистываю вторую. Соседи по купе разглядывают меня с удивлением, перешептываются. Может быть, принимают за сумасшедшего?

Пусть, мне не до них.

В другой книге та же «Галиция», да еще «Карпаты» в придачу.

Характеризуя своего героя, покидающего возлюбленную, автор говорит:

«Он удирал, как немец под напором русской армии».

В газетных подвалах, в тонких и толстых журналах появились какие-то новые проворные личности.

— Шумим! Шумим!—кричат они своим появлением.

И, действительно, шумят изрядно.

Пишут, конечно, о войне, про войну, про доблести наших уважаемых союзников, про немецкие зверства и козни Франца-Иосифа.

Каждая газетка дает им ежедневно сотни сюжетов для тенденциозных рассказов и повестей.

Ветер военного министерства надул паруса всей писательской бездари, и она заработала на полном ходу. В журналах много новых имен поэтов и романистов.

Впрочем, Шутов мне говорил, что эти новые имена просто псевдонимы известных старых писателей, которые будто бы стыдятся писать патриотические вирши, но не могут удержаться от соблазна хорошо подработать. Он называл одного «маститого» писателя, который, по его словам, работает под тремя псевдонимами и умудряется писать чужим языком, чужим стилем.

Если этот водевиль с переодеваниями — факт, то это чудовищно.

Рассказики, романы и стихи патриотичны, антихудожественны, убоги, безграмотны, но паруса критиков и издателей надуты тем же тайфуном из военного министерства, и поэтому первые хвалят, а вторые печатают.

Критерием художественности стал патриотизм, все остальное неважно.

Даже бывшие декаденты, воспевавшие некогда «чудовищный разврат с его неутолимою усладой» и пытавшиеся «удивить мир злодейством», стали патриотами. И у них заиграла кровь.

Прославленный эго-футурист, кумир дегенеративных психопаток и скучающих барынь—Игорь Северянин — вещает миру с присущим футуристам бахвальством.

> Когда настанет миг воинственный,
> Во мне проснется гражданин,
> Ваш несравненный, ваш единственный,
> Я поведу вас на Берлин.

...И кто бы мог подумать, что этот худосочный неврастеничный юноша с лошадиным лицом, с идеальным про-

бором на голове обладает таким воинственным характером и метит в Наполеоны?! Воистину уж, «война родит героев».

*

На станциях бабы бойко торгуют с'естными припасами. Цены высокие. Солдаты ругаются, но громить не громят. Бабы, разговаривая с солдатами, сочувственно вздыхают: «Бяда чистая, свой у нас тоже иде-то на хронте, как вы, сердечные, страждет». Вздыхают, а все-таки дерут с них втридорога.

Земля сияет счастьем и жизнью, а я еду на фронт убивать. Там праздник смерти и разрушения.

Вот и сегодня, наверное, как вчера, убито несколько тысяч человек. Через два часа резвые мальчики будут продавать «экстренные выпуски» и, учитывая нездоровое любопытство публики, будут звонко выкрикивать цифру убитых и раненых...

*

В купе входят два новых пассажира: молодая дама и грудастый, розовый прапорщик.

Прапорщик возвращается из командировки в свой полк, оперирующий где-то на Стоходе.

Дама—на фронт... к мужу.

Аверьян Леонтьевич (так зовут едущего в нашем купе поставщика), приглядываясь к модно одетой даме, говорит:

— Так, так, барынька. К мужу, значит. А где он у вас и кем служит, позвольте полюбопытствовать?

— Командир артиллерийской бригады.

— Так, так. А известно ли вам, что теперь, согласно приказу главнокомандующего, в'езд женам и лицам женского пола в зону военных действий вообще воспрещен?

Женщина дымчато улыбается.

— Я еду не в гости к мужу, а в качестве сестры милосердия в бригадный госпиталь. Все оформлено, будьте спокойны.

Поставщик успокаивается.

Прапорщик напористо, назойливо ухаживает за «сестрой». На каждой станции он бегает в буфет и приносит ей чего-нибудь полакомиться.

Дама устроилась на верхней полке. Прапорщик ночью залез к ней и спустился на свою постель только утром.

Смена поездной бригады. Долго стоим.

«Молодожены» гуляют на платформе. В раскрытое окно доносится звонкий смех нашей «сестры».

Аверьян Леонтьевич негодующе шипит:

— Ишь кобыла нагайская! Всю ночь под одеялом целовались. Двадцать лет ездию по всем дорогам, а такого паскудства, чтоб баба в вагоне чужого мужика под одеяло на всю ночь пустила, не видывал... И когда они снюхаться-то успели? Хотел я утром, грешным делом, по-стариковски отчитать, одернуть их маленько, да побоялся. Чего доброго, прапор еще в морду даст. Ныньче народ пошел аховый, особливо которые в погонах... Вот мужу бы написать. Какой он батареей-то у нее командует?

— Не батареей, а бригадой, Аверьян Леонтьевич.

— Ну, все равно. Какой? Где?

— Не знаю. Забыл.

— Ах ты, господи! И я запамятовал. А то бы написал, честное слово...

Меня разбирает смех.

Поставщик громко сморкается в затасканный серый платок. Глубокие извилины морщин тяжело играют на выпуклом вспотевшем лбу.

— Чему вы смеетесь? — журит он меня. — Вам все хаханьки. Что за народ пошел? В старое время этого отродясь не было.

*

Доехали. В штабе корпуса меня влили в маршевую роту, которая выехала из Петербурга за неделю раньше моего от'езда.

Идем по шоссе в место расположения полка. С прошлого года мало что изменилось. Та же «родная» картина.

Солдаты все еще распевают «Соловья-пташечку». Ни одной новой песни за это время не придумали.

Кружатся вражеские аэропланы: целая стайка. Наши батареи энергично обстреливают аэропланы из зенитных орудий. В голубой котловине неба отчетливо видны серые яблоки взрывов.

Но блестящие птицы ловко ускользают от рвущихся снарядов.

Пехотинцы ругают артиллеристов:

— Где им в аэроплант попасть! Они в корову на-ходу не попадут. Баб на привалах щупать—мастаки. Снаряды изводят зря, черти полосатые. Закрыли бы свои плевательницы лучше.

Со свистом скользит в воздухе выплюнутый хищной птицей снаряд.

Повозки с ранеными и лошади, подхваченные сотрясением воздуха, отрываются от земли.

А потом и люди, и лошади, и колеса двуколок лежат рядом на шоссе по краям небольшой, только-что образовавшейся воронки.

Аэропланы летят дальше в тыл; артиллерия бьет им вдогонку.

Солдаты бегут помогать обозникам: режут постромки, стаскивают в канаву убитых и раненых лошадей, разбирают повозки.

К месту происшествия подлетает бравый полковник на породистом огненно-рыжем жеребце. Зычно кричит, вытягиваясь на седле.

— Давай! Давай! Не задерживай движения. Нечего копаться, давай!..

*

Встречаю Граве.

— Вот не ожидал!

Расспрашиваю о старых знакомых.

Граве стереотипно отвечает:

— Убит.

— В плену.

— Ранен, эвакуирован.

— Без вести пропал.

— Дезертировал.

И изредка:

— Получил «Георгия».

— Произведен.

— Отмечен приказом.

— А где наш поэт?

— Ранен в бедро. Лечится. В Орле. Скоро вернется в полк; на-днях я получил от него цидульку.

— А как поживает бессмертный Кащей?

— Фельдфебель Табалюк убит! — дрогнув глазами, говорит Граве.

Я не могу удержаться от восклицания:

— Не может быть?!

Граве старательно раскатывает между пальцев потухшую папиросу.

Сухо и жестко поблескивают глаза.

— Да, представь себе, убит и Табалюк. И, знаешь что — только не болтай об этом — странно так убит. Кажется, своими солдатами; его недолюбливали многие. Пошел в уборную оправиться, и там пуля настигла его. Прямо невероятно, как это могло случиться. Яма глубокая, голова идущего почти на аршин ниже уровня насыпи. Возможно, рикошетом царапнуло, но, сам знаешь, рикошетные пули редко убивают на смерть, она уже обессилевшая... Табалюку снесло полчерепа, мозги упали в уборную.

*

Голод. Пайки урезали. Кашу дают почти без масла.

Мародерство принимает угрожающий характер.

Высшее командование издает строгие приказы, грозит мародерам муками дантова ада, но ничего не помогает.

Голодные солдаты нашего батальона украли у лавочника-еврея корову. Сломали в хлеву замок, надели ей на ноги сапоги, чтобы не было на снегу следов, и, выведя за околицу, зарезали. Шкуру продали обозникам за пять фунтов махорки, а мясо поделили и с'ели.

Еврей принес жалобу батальонному командиру и заявил, что вечером перед кражей около его дома гуляли

два бородатых солдата, которые являются или сообщниками или самими мародерами.

Батальонный выстроил весь батальон в две шеренги и вместе с евреем идет вдоль фронта.

На лице батальонного скука. Будучи службистом, он только выполняет приказ, но насчет мародерства он и «сам не прочь воровать целу ночь».

Еврей выступает важно, как библейский пророк, призванный обличать свихнувшихся с пути людей.

Они внимательно, не спеша ощупывает всех колючим блеском грустно-миндальных глаз.

Против каждого ополченца с бородой он задерживается несколько секунд, и тогда весь батальон, затаив дыхание, ждет магического и грозного слова:

— Этот!

Но еврей идет все дальше и дальше. Два раза прошел он по фронту, «дивясь на хлопцив», и не нашел своих разорителей.

— Нема туточки никого из тих, пане полковник!— говорит он дрогнувшим голосом и, поклонившись офицерам, уходит в свою хату, важно потряхивая благообразной седеющей бородой.

*

Сегодня арестовали трех солдат двенадцатой роты, которые украли у еврея корову.

Один написал земляку письмо, где подробно изложил всю историю с кражей.

С хохлацким юмором описал он, как одевали корову в сапоги, как сбрили себе бороды и усы, когда узнали, что еврей их будет «шукаты».

Военная цензура вскрыла письмо и препроводила командиру полка на расследование.

Заварилось дело.

Батальонный, говорят, вызвав к себе виновников перед отправкой на гауптвахту, кричал на них:

— Олухи! Дурачье! Воровать не умеете! Тысячу раз вам говорил: воруйте, но не попадайтесь. Попадетесь — не пощажу, потому—закон не разрешает воровать у мирного жителя последнюю корову. Тащи, что плохо лежит, пользуйся моментом, на то и война, но умей концы прятать, не подводи начальников своих!

Еврей, узнав, что виновники арестованы, приходил к командиру батальона и просил, чтобы дело замяли. Ему жаль солдат, которых за корову могут сослать на каторгу.

Батальонный выгнал его.

Несчастный еврей, наверное, сам не рад всей этой истории.

Товарищи арестованных грозятся убить его и спалить хату перед уходом из местечка.

Он тайком вручил солдатам восемьдесят рублей денег и велел их передать командиру батальона, как якобы добровольно собранные с солдат для уплаты за украденную корову.

Еврей надеялся, что батальонный обрадуется такому исходу и тотчас же дело прекратит на законном основании.

Батальонный деньги принял, приобщил их к делу и солдат не освободил...

Таким образом мы с'ели у еврея двух коров.

*

Проезжавший казак-ординарец с лихо зачесанным чубом хвастливо рассказывал:

— Мы, казаки, где пройдем походом, там никакой живности не останется — все разворуем и поедим. Мы, казаки — народ вольный. Нас даже куры боятся. Как увидят казака, сейчас заквохчут, точно оглашенные, и улепетывают куда-нибудь в куток. Удочкой теперь ловим, так в руки нипочем не даются.

— Как удочкой?

Казак молодецки встряхивает чубом и улыбается лукаво.

— Очень свободно. Берешь шнурок с обнаковенной удочкой на конце, на крючок налепишь хлебный шарик, кинешь курице через плетень, она клюнет и — готово. Тяни ее к себе, крути ей голову на бок, клади в ранец... Так то, замлячок. А иначе как же? Жить-то ведь надо как-нибудь...

*

Вернулись в полк Анчишкин и Воронцов. Оба были ранены и эвакуировались несколько позже меня.

Воронцов не изменился.

Анчишкин заметно постарел.

— Дела—табак, господин пиит. Народу перепортили много, а результатов пока не видно.

Поэт кисло улыбается.

— Что же делать? Нельзя выпрягать на полдороге, девки засмеют, да и убыток будет.

— Война, действительно, никчемная выходит. Немцы всю поэзию, как паутину мокрой тряпкой, смахнули. Они механизировали все и вся. Все сведено к техническим

расчетам, к математике. Нет места для творчества, героизма, неожиданных комбинаций. Война стала шашечной—именно шашечной, а не шахматной—игрой. Но розыгрыш затянулся, ибо каждая сторона ежеминутно вводит в действие новые пешки взамен проигранных. Это, правда, уже становится скучным.

Так, так. Сдает понемногу, значит, и Анчишкин.

*

В наш батальон влился бежавший из немецкого плена штабс-капитан Васютинский.

Человек нервный и неуравновешенный. Много пережил в плену, и это окончательно вывихнуло ему мозги «набекрень».

Каждому (солдатам и офицерам) охотно рассказывает о «немецких зверствах». Жестикулируя и поблескивая воспаленно горящими глазами, он истерически вопит о системе унизительных обысков в немецких концентрационных лагерях, о немецкой пище для пленных, от которой дворняжки отворачивают с негодованием нос, об изнурительных работах, на которые гоняют пленных солдат и офицеров; и наконец квинтэссенция всех его повествований—трагедия в Н-ском лагере.

Часть бараков, в которых было полторы тысячи военнопленных, в знак протеста против грубого обращения и почти тюремного режима об'явила голодовку.

В полночь немцы навели на бараки двадцать пулеметов, и в течение получаса свинцовый дождь лизал сухие тонкие стенки деревянных бараков, поражая испуганно мечущихся обитателей.

Убито было сто двадцать человек, ранено двести.

Забастовка была сорвана. Оставшиеся в живых сняли все свои требования.

Немцы потребовали зачинщиков бунта. Таковых не было. Выдавать никто никого не желал.

Тогда выстроили всех в две шеренги. Пересчитали по порядку. Вывели из каждого десятка по одному с правого фланга и об'явили, что все выведенные будут расстреляны немедленно, если зачинщиков не выдадут.

На нарах еще не высохла кровь от ночной катастрофы, еще трупы убитых не были зарыты в землю, и это говорило за то, что с немцами шутки плохи.

Чтобы спасти сотню невинных товарищей, шесть офицеров и двое солдат вышли из строя и назвали себя зачинщиками.

Зачинщиков тут же расстреляли на дворе лагеря, остальных отпустили...

Лагерь притих и присмирел. Убежав из плена, Васютинский дал клятву отомстить немцам.

И теперь он каждому с упоением рассказывает о том, что переведется в тыл и попросит о назначении его, Васютинского, начальником концентрационного лагеря для немецких военнопленных.

Получив такое назначение, Васютинский введет в лагере ту варварскую систему, от которой он пострадал в Германии.

— А потом, — заканчивает он свой рассказ, — когда я вдоволь натешусь над ними, они у меня получат такую же кровавую баню, какую задали нам в Н-ском лагере. Я поставлю пяток пулеметов (по нашей бедности российской и пяти «максимов» хватит...) и... расстреляю весь лагерь.

Анчишкин понемногу левеет, а Граве тверд, как скала. Горой стоит за войну.

Вчера дискуссировали целый вечер.

— Пусть в этой войне мы, Россия, не правы, — говорит он, наконец, — пусть правы немцы. Пусть наконец правы обе страны; пусть каждая армия несет свою незыблемую правду на ребрах окровавленных штыков! Что ж из этого? Война имеет бесспорную внутреннюю ценность и сама по себе прекрасна. Я вам это тысячи раз говорил. Величайший гений военного искусства, Мольтке, сказал: «Война — это святое, божественное установление, это один из священных законов жизни. Она поддерживает в людях все истинно великое — благородные чувства, честь, самоотвержение, храбрость. Словом, она не дает людям впасть в отвратительный материализм». Что можете вы, слюнтяи-пацифисты, противопоставить этой четкой и ясной, логически выдержанной формуле?

— Здравый смысл не нуждается в аргументации — вставляет Воронцов.

*

В окопы откуда-то проникла эпидемия азартной игры. Офицеры играют на деньги, солдаты выигрывают друг у друга хлебные пайки, сахар, табак.

Вчера в нашем отделении четверо проигравшихся обедали без хлеба. Над ними смеялись. Это самый гнусный результат игры.

Выигравшие уплетают по два пайка, и лица их лоснятся от свиного удовольствия.

Возмутила эта история. Пробовал вразумлять игроков, но безуспешно.

Когда доказываю, что выигрывать у своего товарища последний кусок хлеба и заставлять его голодать — гнусность, то со мной все как-будто соглашаются.

— Знамо дело, нехорошо.

— Что и судить.

— Баловство, одно слово.

— Грех да ссора, только.

А через несколько секунд опять бубнят свое:

— Да ведь кабы ежели мы насильно... тоды так, а ведь мы, значит, по доброй воле.

— Тут мы на счастье рискуем: седни я выиграл у него пайку или две, завтра он у мене. Кому как фартнет — уж не обессудь, друг-товарищ.

— Ну, а если всю неделю будет проигрывать?

— Тоды, значит, коли шибко жрать захочет — перестанет играть; отдохнет малость — опять метнет карту; вы напрасно сумлеваитись.

— Скука одолевает без игры, тошно на свет глядеть.

В первый год войны этого карточного разврата и в помине не было. Видно, чем дальше в лес, тем больше дров.

*

Подпоручик двенадцатой роты Фофанов получил после легкой контузии месячный отпуск. Выехал к себе на родину в Воронеж. Ночью без предупреждения прикатил с вокзала на квартиру.

— Где жена?

Родные встревоженно переглядываются.

— В больнице.

Фофанов, не дожидаясь утра, бросился навещать жену.

В больнице его встретил дежурный врач.

— Скажите, доктор, здесь лежит такая-то? — обратился к нему Фофанов.

— Здесь.

— Каково ее положение? Что с ней?

— Ничего серьезного, господин поручик, у нее осложнение после аборта; уже проходит...

Поручик взревел от гнева и боли:

— Не может быть, доктор! Вы наверное перепутали! Я муж, я два года не был дома...

Смущенный доктор молча протянул офицеру «скорбный лист».

— Вот диагноз, история болезни.

Фофанов ворвался в женскую палату, отыскал жену и сонную пригвоздил тремя выстрелами из нагана к койке. А затем пошел заявлять властям об убийстве.

Его арестовали. Предстоит суд. Прислал в полк письмо. Просит офицеров о помощи.

В полку поручик Фофанов популярен как «боевой» офицер.

Составили длинную телеграмму с перечнем всех боевых заслуг Фофанова и послали в несколько адресов.

Сочувствие всех офицеров явно на стороне Фофанова.

— Из-за какой-то паршивой бабы лучший офицер на каторгу пойдет.

— Каждый из нас поступил бы так.

— Он тут кровь проливал, а она от абортов лечится.

Особенно возмущается прапорщик Змиев:

— Я бы не так сделал. Я бы сначала выпытал у нее, от кого забеременела, потом пришил бы ее и пошел к «своячку». Если он военный — на дуэль пожалуйте.

Если шпак — просто стукнул бы из нагана без лишних разговоров — и делу конец.

Змиеву поддакивают и молодые и старые офицеры.

И никто ни словом не обмолвился о том, что подпоручик Фофанов за два года войны изменял жене сотни раз, что в походах на каждом биваке он имел любовниц, что гонялся за каждой юбкой.

*

Из Петрограда прибыл в нашу роту для «исправления» в чем-то проштрафившийся аристократ-гуляка юнкер Щербацкий.

На фронте, особенно в штабах и канцеляриях, циркулируют упорные слухи о все возрастающих «козням» старца Г. Е. Распутина.

Встретившись наедине с Щербацким, я спросил его, как свежего человека, что он знает о Распутине.

— Это вы про Гришку-то? — развязно сюсюкает он, вскидывая на меня свои выпуклые голубые глаза.—Как же, как же. Вся столица о нем говорит. Только так, шопотком больше.

— Что он собой представляет?

— Сиволапый мужик, жулик, пройдоха, святой и ненасытный бабник. Всю петербургскую знать женского пола обратил в свою веру.

— Все эти слухи о личности Распутина кажутся мне преувеличенными.

— Что вы! Что вы! — протестует Щербацкий. — Это такая бестия, что умудряется не только спать с царицей и августейшими дочерьми, но и управлять страной. Все сановники перед ним на ципочках ходят. Может сменить

по своему капризу любого министра, командира корпуса. Но характерно вот что: фамилия этого великого проходимца чертовски гармонирует с его внутренней сущностью. О распутинских оргиях создаются умопомрачительные легенды.

Потом, прищурив потухшие устремленные куда-то внутрь глаза, Щербацкий полуиронически говорит:

— Скоро нашему брату, аристократам, жениться не на ком будет: все девки в распутинских б.... окажутся.

Заметив мою недоверчивую улыбку, Щербацкий уже серьезно заканчивает:

— Да, да. Я не шучу, вы знаете, он ведь неутомимый... А все женщины сейчас охвачены небывалым половым психозом и мистицизмом. Почва благодарная. Но особенно двор, двор!... Россия видала всякие виды. При Екатерине и Елисавете выносливые в половом отношении мужчины «зарабатывали» огромные имения, целые области с крепостными мужиками, всякие чины, регалии, но такого разврата при дворе не было. Тогда как-то стыдились, скрывать умели. Сейчас этим нарочито бравируют.

Сделав значительную паузу, Щербацкий изображает заговорщицкую мину на своем одутловатом лице со следами порока и таинственно говорит:

— Распутина собираются убить. Скоро убьют...

— Кто?

— Наши.

Сегодня газеты принесли сенсационное сообщение об убийстве Распутина. И мне невольно припомнился весь этот случайный окопный разговор с юнкером Щербацким.

Захватили в плен батальон немцев во главе с пастором.

У последнего оказался очень недурно подобранный ассортимент «священного товара».

Душеспасительные брошюрки и листовки, предназначенные, видимо, для распространения в германской армии, изданы на прекрасной бумаге, с яркими, выразительными иллюстрациями на обложке и в тексте.

Просматривая «багаж» пастора, я успел сделать несколько выписок из наиболее характерных брошюрок.

«Запомните, что германский народ — народ, избранный богом. И на меня, как на германского императора, снизошел дух господа бога. Меня избрал он своим мечом, своим оружием и своим вице-регентом на земле. Горе всем непокорным и смерть всем трусам и изменникам».

Это, разумеется, слова самого Вильгельма. А вот эпиграфом к одной листовке взяты слова некоего пастора Кенига:

«Сам бог повелел желать нам войны».

Другой пишет:

«Господи! Хотя жизнь воина не легка, молю тебя — пошли врагам смерть и удесятери их страдания. Прости в своем милосердии и долготерпении каждую пулю, каждый снаряд, который не попадает в цель.

Не допусти нас до искушения, чтобы смирилась наша ярость, потух наш гнев и мы не довели до конца твоего святого возмездия.

Освободи всех нас и наших союзников от наших врагов и их слуг на земле. Ибо твое есть царствие наша германская земля. Дай нам при помощи твоей

в сталь закованной руки завершить наш доблестный подвиг славы...»

В маленькой листовке с оригинальной виньеткой некий Лейман говорит:

«Германцы — это центр всех божественных планов на земле. Германская война против всего мира в действительности должна остаться войной против всех мирских низостей, злобы, фальши и других дьявольских наваждений всего света».

Пастор Румп уверяет немецких воинов:

«Наше поражение было бы поражением сына божия в образе человеческом. Мы воюем за все блага, данные Иисусом всему роду человеческому».

И в соответствии со словоизлиянием немецких закройщиков католической фирмы какой-то, должно быть, маститый профессор теологии пишет:

«Самым важным и самым знаменательным результатом войны надо считать то, что мы имеем теперь нашего личного германского бога. Не национального бога, как законодателя достояния народного, но имеем нашего бога. Бога, не стыдящегося того, что он принадлежит нам и что он — исключительная собственность нашего сердца».

Переводить и выписывать эту галиматью нехватает сил.

И подумать только! Чтобы приобрести себе «личного бога», немцы должны отправить на тот свет миллионов десять русских, французов, англичан, и т. д., да столько же, примерно, своих.

Перевожу и раз'ясняю эти мудрые афоризмы солдатам. Смеются и возмущаются.

Один, маленький, самый смышленный из нашей роты говорит:

— Не хуже наших попов, значит стараются и тамошние. Наши тоже так пишут. И бога, поди, запутали так, что он совсем не знает и помогать кому: то ли немцам, то ли нам. Все долдонят одно: помоги, господи, одолеть врага...

*

Штабной ординарец ругает Кузьму Крючкова.

— Прогремел на всю Россию, байстрюк. На папиросных коробках его портреты печатают... А последний казачишко был, из нестроевых, и подвигов никаких во сне не видывал. Вот ведь пофартило человеку.

— Как же так?

— Очень просто. Ездили наши казаки в раз'езд, напоролись на немецкую кавалерию и айда назад. Немцы взялись преследовать.

У Кузьмы Крючкова лошаденка была нестроевая, хуже всех, он и поотстал. Немцы догонят его, ткнут слегка кончиком пики, он от того укола гикнет, как сумасшедший, пришпорит лошаденку и оставит немцев на некоторое время позади...

Лошади-то у немцев заморенные были. Так вот немцы и гнали наш раз'езд верст пять. Кузьку все время ковыряли пиками в задницу, ну и наковыряли ему ран пятнадцать. А все из-за лошади. Будь у него хороший конь, он бы ни одной раны не получил, угнал бы вперед всех.

Через лошадь ему и счастье привалило, ходит теперь в крестах, как индюк, не здоровается с нашим братом.

— Ну, а как же писали, что он убил больше двадцати человек немцев.

Казак звонко хохочет. Дородное тело его раскачивается в маленьком желтом седле.

— Да кто их видел? Байки бабьи. Вранье! Все казаки об этом знают. И офицеры знают, да молчат. Свои соображения имеют. Тут политика хитрая. Всем выгода от этого.

*

Среди солдат заметно движение.

Солдат ежедневно спрашивает себя:

«Почему я голодаю? Отчего я сижу в окопах без сапог, без теплого белья? Долго ли еще так будет?»

Война дала великолепную встряску, она заставила многих ворочать мозгами в сотни раз интенсивнее, чем в мирное время.

Уже одно то, что человек побывал в десятках городов и губерний, повидал новых людей, поднимает его выше на целую голову. Толчок дан жизнью, войной, и он раскачивает народный массы.

*

Получил нелегально экземпляр размноженной на гектографе речи Максима Горького, произнесенной им на собрании представителей печати. Перечитываю ее от начала до конца, и сердце мое переполняется чувством благодарности к автору.

Это первые умные слова, сказанные за все время войны русским писателем. Эта речь должна войти в историю.

«Немец считался у нас на Руси образцом честности, аккуратности. «Честен, как немец», «аккуратен как немец». Это поговорки. Ныне, по какому-то щучьему велению, немец стал синонимом бесчестности, бесстыдства, варварства. И это говорится не об отдельных личностях, а о целой германской нации.

Мы все живем в атмосфере, насыщенной человеконенавистничеством, ядовитыми испарениями крови...

Эта война, кроме неисчислимого вреда, наносимого ею непосредственно, влечет за собою культурное одичание, взрыв зоологических эмоций, развитие ненависти, жадности и всяческой лжи, и всяческого лицемерия».

В армии и в тылу растет антисемитизм. Алексей Максимович сказал свое веское слово и по поводу этого явления.

«Готовясь после внешней войны к войне внутренней, предусмотрительные люди заранее принимают все меры для того, чтобы по возможности разбить, ослабить оппозицию.

Одною из этих мер, первой и важней по ее политическому и культурному значению, является острота и усердие, с которым предусмотрительные люди пропагандируют антисемитизм.

...Упорно внушают, что еврей — враг русского народа и предатель, а русский народ вследствие умственной лени своей очень доверчив и любит искать причины неудач своей жизни вне своей воли, своего разума...

...Еврейский вопрос в России ставится предусмотрительными людьми как обще-русский политический вопрос, он ставится столь нарочито остро для того, чтобы на нем русская оппозиция, и без того раздробленная

мелким партийным политиканством, раскололась еще раз и по новой линии...»

Не знаю, перед какими писателями говорил эту замечательную речь Горький. Если перед теми, которые пишут сегодня рассказики на ура-патриотические темы, то не стоило метать бисер перед свиньями.

*

Растет дезертирство.

Для ловли дезертиров на всех дорогах, на мостах и переправах выставлены сторожевые пикеты. Пикетчикам за каждого пойманного дезертира выдают четырнадцать копеек награды. Пикетчики стараются изо всех сил. Сторожевая служба в тылу спасает их от немецких пуль и вдобавок она выгодна, как источник сдельного заработка. Но дезертиры уходят мимо застав и пикетов, текут без дорог по каким-то «козьим» тропам, просачиваются, как клопы, в щели.

Шпиономания растет параллельно с усталостью войск и командного состава. Она охватила в одинаковой мере как немцев, так и нас.

Все неудачи на фронте принято сваливать на шпионов. Противник изображается круглым дураком, не имеющим ни глаз, ни ушей. Если бы вот не шпионы, противника можно было бы забрать голыми руками.

В местечках, переходящих из рук в руки, часто одного и того же человека обвиняют в шпионаже обе армии: немецкая и наша.

Приплелась ветхая старушонка с просьбой написать в Красный Крест письмо о розыске пропавшего без вести сына.

— Где он у тебя пропал?

— В шпиены выбрали, кормилец, — невозмутимо шамкает бескровными губами старуха, как-будто речь идет о выборах в сотские или десятские.

— Как выбрали?

— Да так, вот и выбрали миром. Пришли в местечко немцы после отступления нашей армии. Главный немецкий генерал собрал всех жителей и говорит: «выдавайте шпиенов, не то все местечко сожгу и расстреляю десятого».

Наши старики плакали, плакали, умоляли, деньгами хотели откупиться — не могли собрать. Все богатеи-то выехали отсюда, одна голытьба осталась. Вот и решили, значит, выбрать шпиена, как бы от общества. Мой Петро был кривой на один глаз, в армию его не приняли, он и сидел дома. Мир выбрал его в шпиены и сказал: «Ты, Петро, счастливый мужик, у тебя недостает одного глаза, твои товарищи страждут в окопах, а ты блаженствуешь дома, так иди-ка ты в шпиены, може, и с одним глазом не забракуют».

Слушаю эту скорбную и кошмарную повесть старухи, и мне кажется, что или она сумасшедшая или я схожу с ума.

По ссохшимся морщинистым щекам старухи катятся слезы.

Она утирает нос рукавом грязной рубахи. Скрипучий голос продолжает жужжать:

— Выбрали еще в помощь Петро хромого сапожника-Оську да безрукого жида-музыканта Янкеля.

Сына моего и Янкеля немцы увезли неизвестно куды. Оська хромой вернулся, а их не пустили.

Сделай милость, напиши в Красный Крест, спроси, когда отпустят Петро домой.

Пропиши: мать, мол, у него старуха, иссохла от тоски, умирать уж собралась, есть нечего, все солдаты разграбили, сожрали, поломали...

Знаю, что Красный Крест ничего не сможет ответить, но жаль разочаровывать старуху, не хочется усугублять и без того непосильное горе ее, и я пишу от ее имени запрос.

Старуха ставит в конце текста дрожащими от волнения руками крестик и, поблагодарив меня, уходит, жалкая и величественная в своем горе.

Часто офицеры арестовывают за шпионаж заведомо ни в чем неповинных мужиков, интеллигентов и даже помещиков, у которых есть хорошенькие жены или дочери.

Когда женщины приходят хлопотать за арестованного, им без всякого стеснения предлагается: «Плати своим телом, и муж—или отец—твой будет освобожден. Не согласна — расстреляем! Улики у нас есть».

Женщины жертвуют своим телом, подчиняются силе...

*

Сменились опять на отдых. Стоим в местечке за двадцать верст от передовой линии.

Нашу бригаду принимал новый генерал.

Был смотр обоих полков. Мы чистились, мылись целые сутки, чтобы «блеснуть».

Но увы! Лохмотья плохо поддаются чистке. Многие так обносились и опустились, что похожи на Робинзона Крузо, на Короля Лира, на кого угодно, но только не на гвардейских стрелков.

Всех, кто был в рваных сапогах или совсем без сапог, ротные командиры поставили в заднюю шеренгу.

Хотели обмануть бригадного.

Бригадный, высокий, с типичной солдатской выправкой генерал-лейтенант медленно идет вдоль развернутого фронта. Изредка спрашивает, наклоняясь к самому лицу солдат.

— Жалобы есть?

Содаты молчат, выпячивая на начальство богатырские груди и «поедая» его глазами, как полагается по неписанному уставу.

Вдруг в последних рядах прорвало:

— Почему хлеба мало дают?

Выкрик робкий, просительный. И сразу же посыпалась дружная дробь голосов смелых и отчаянных:

— Почему сахар урезали?

— Почему каптеры торгуют продуктами и обмундированием? Где берут?

— Почему контролю нет?

— Сапоги давай!

Из задней шеренги угрожающе тянутся вперед спрятанные от генеральских глаз сотни ног в уродливых рыжих сапогах с подвязанными проволокой и шпагатами подметками, с прожженными на кострах голенищами, с раз'ехавшимися задниками.

Лица солдат потны, красны и злы.

Офицеры стынут неподвижно на своих местах.

Бригадный на-ходу говорит что-то негромко командиру полка.

Тот, прикладывая ладонь к козырьку, однозвучно отвечает:

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Слушаюсь!

У командира полка нижняя губа прыгает, точно в лихорадке...

*

Стрельбы нет. Над окопами морозная тишина.

Гурий Феоктистов, долговязый малый, лет тридцати, по профессии истребитель крыс и мышей, а теперь стрелок первого взвода, стоит рядом со мной в бойнице на часах.

Опираясь на винтовку и раскачивая из стороны в сторону свое длинное тело, он, точно глухарь на току, целый час напевает похабную песенку:

> Ти-та, ти-та, ти-та, ти-та,
> Поп любил архимандрита,
> А дьячок пономаря,
> Ничего не говоря...

Это раздражает меня, и я мягко прошу:

— Перестаньте, Феоктистов.

Титающий теноришко обрывается на полуслове.

Феоктистов несколько минут сосредоточенно пыхтит и возится с подсумком, который сполз на живот.

— Что, не нравится тебе моя песня?

— Нет, Гурий.

— Гм... А мне, может, вот в окопе стоять не нравится, надоело, тогда как?

— Ну и не стойте...

— Да куда же денешьси? Везде найдут, приструнят, мать иху...

Несколько минут мы оба молчим.

Феоктистов спрашивает:

— Скажите вы мне, пожалуйста, почему в газетах фронт называется театром военных действий? Читаю каждодневно и удивляюсь, никак докопаться истины не могу. Давно собирался спросить сведущего человека. Я сам-то москвич. В Москве есть Большой театр, Малый, Художественный и другие. Это понятно. А какой, к примеру, театр наши окопы? Что это, для смеху пишут...

— Не знаю, Гурий, не знаю.

— Чудно! Неужто и вы не знаете?

— Нет.

— У кого бы это спросить?

— Не знаю. Может быть, батальонный скажет...

— Да ведь как к нему подступиться с таким вопросом? Он те так шугнет, что не знаешь, в какой конец бежать.

Опять длительная пауза.

— А еще я хотел вас спросить насчет перехода в иностранную веру. Можно это теперь или нет?

— В какую веру, Гурий? В католичество? В магометанство? В иудейство?

Он смеется и, размахивая перед моим носом широкими рукавами шинели, говорит:

— Я не про то. Ну их всех богов сптих! Все хороши. Я насчет паспорта. Нельзя ли сделать так: живу я в России, хотя бы в Москве, а паспорт у меня аглицкий или немецкий и чтобы меня ни на войну, никуда взять не могли.

Я начинаю понимать его.

— Иностранное подданство принять хотите? Так, что ли?

— Вот, вот! Про это самое!

— Не знаю, Гурий, теперь как, а до войны, кажется, можно было. Нужно было заплатить сколько-то или жениться на иностранке.

— Даже жениться? Ах, чтоб те лопнуть на этом месте! Ничего не выйдет. Я восьмой год в законном браке состою, наследников уж троих имею. А я думал, это просто. Подал заявление, и готово.

Помолчав немного, он философски, не торопясь, рассуждает:

— Да и то сказать, нельзя иначе-то. Ежели разрешить нашему брату беспрепятственно переходить в иностранное подданство, все перейдут. Русские в аглицкое, а французы — в русское. Чехарда получится. Тогда ни в одном государстве и армии не соберешь.

И, закручивая из газетной бумаги цигарку, игриво заканчивает свою мысль:

— А курьезно будет, в сам деле, Андреич. У государя вся земля заселена народом. Населения кишмякишит, а подданных нету. Все как есть иностранцы.

Мне эта перспектива тоже кажется забавной. Я шутя говорю Феоктистову:

— Ну, что ж, попробуем после войны, коли живы останемся, жениться на иностранках и перейти в «иностранную веру».

Он тяжело вздыхает:

— Где уж мне? Нос у меня конопатый. Какая иностранка за такого пойдет. Да, может быть, до другой войны я и не доживу, а в мирное время и под своим царем с грехом пополам жить можно. Дотяну уж какнибудь.

По мерзлой земле хода сообщения гулко громыхают тяжелые шаги.

Тихие переклики людей тревожат синеватую мглу окопных тупиков и закоулков.

Феоктистов снимает с винтовки штык, одевает его острием вниз и, покашливая, говорит мне:

— Смена идет. Пойдемте-ка в землянку. Ноги застыли. Эх, горяченького бы теперь поесть чего-нибудь.

— Не худо бы,—соглашаюсь я. — Но оба мы отлично знаем, что это химера. Горяченького ничего нет.

*

Только-что получили статью Горького: «Письма к читателю».

Есть замечательные строки против войны, против военного угара, против патриотического хвастовства нынешних Маниловых.

«С того дня, как нас лишили водки, мы начали опьяняться словами. Любовь к слову, громкому, красному, всегда свойственна россиянам, но никогда еще словоблудие не разливалось по Руси столь широким потоком, как разливалось оно в начале войны. Хвастовство русской мощью, «бескорыстием» русской души и прочими качествами, присущими исключительно нам, хвастовство в стихах и прозе оглушало, словно московский медный звон...

И, как всегда, в моменты катастрофы громче всех кричали жулики»...

Это не в бровь, а прямо в оба глаза.

Горького не купишь ни за чечевичную похлебку, ни за миллионы. Он всегда останется Буревестником. Цар-

ские прислужники не ошиблись, когда забаррикадировали перед ним путь в академики. Ну, что ж!.. Будущее человечество все равно поставит Горького выше многих нынешних «академиков».

*

Подпоручик Лебеда, попыхивая короткой трубкой, спокойно рассказывает мне:

— Надоело, понимаете ли, сидеть в окопах. Сил больше нет, любви к отечеству нет, ненависти к немцу нет — ничего нет. Пустота! Скука страшная. Недавно ездил в командировку в Ровно. Три ночи провел в самом дешевом, в самом грязном публичном доме, брал самых паскудных девок, чтобы заразиться сифилисом и уехать в околодок, отдохнуть хоть несколько месяцев.

— Каковы результаты?

— Ничего пока не видно. Каждый день себя осматриваю... и ни пятнышка. Не везет мне ни в карты, ни на баб и даже на сифилис не везет.

Он вздыхает.

— В следующий раз поеду, — говорит он после короткого молчания. — Прямо буду искать проститутку, которая в первом периоде болезни. — Втрое заплачу, а достану. Силы воли у меня хватит: раз что решил — баста! Добьюсь...

— Вы бы лучше себя из револьвера слегка царапнули, коли так твердо решили, — советую я.

— Это не подходит. Я все обдумал. Легко ранишь — месяц продержат в дивизионном госпитале — и пожалте обратно в строй. Да и небезопасно это. Под суд за самострел отдавать начали, теперь строго. А насчет сифона

никто не сообразит... За это каторги не дадут и не разжалуют...

— Но вы подумайте о последствиях. Не так-то легко вылечить. Под старость у вас может провалиться нос, паралич нервной системы, паралич мозга...

— Чепуха, вольнопер!. Нео-сальварсан. Теперь сифилис не опаснее насморка...

Сказал и смотрит на меня дикими загадочными глазами, неестественно громко хохочет.

— Что вытаращил зенки, вольнопер? Удивительно, да? Ха-ха-ха-ха!..

Меня коробит.

Чувствую, краска заливает лицо.

Играя глазами, он говорит мне насмешливо:

— Ничего, не краснейте, пожалуйста, вы ведь не институтка из Смольного. Подождите, повоюем еще года два — дойдем и не до таких премудростей.

*

— Вы говорите по-английски? — спрашивает меня ад'ютант батальонного командира.

— Так точно.

— К нам приехал полковник английской службы. Даем вечер. Многие офицеры полка не владеют английским языком. Вы приглашаетесь в качестве переводчика... на всякий случай. В восемь часов будьте в штабе полка.

— Слушаюсь, — говорю я, прикладывая руку к фуражке.

Все офицеры явились разодетыми, как на великосветский раут. В зале царила английская чопорность.

Дам нехватало. И какой же вечер без дам? Командир полка собрал со всего участка сестер милосердия. Говорят, даже «занял» всех хорошеньких у соседнего полка. Сестры, как могли, исполняли «обязанности» дам.

Подвыпившие офицеры напропалую ухаживали за сестрами и все время благодаря этому сбивались с английского тона.

Расторопные ад'ютанты экспромтом организовали «вечер английской поэзии и музыки».

Один из членов свиты английского полковника сел за рояль и мастерски исполнил какой-то шедевр модного английского композитора.

Завитый и припудренный ад'ютант полка с новеньким «Владимиром» на груди декламировал Шекспира на чистейшем английском языке.

Сестры и офицеры читали Байрона, Шелли, Оскара Уайльда, Мильтона. Играли и пели.

Артистам дружно аплодировали.

...Пили за здоровье английского короля.

Начались танцы.

Незаметно выбираюсь на веранду. Моя помощь в зале не нужна.

Очевидно, ад'ютант просто хотел оказать мне «любезность», приглашая меня в качестве переводчика.

С наслаждением вдыхаю в себя свежий воздух. В предутренней голубизне весеннего неба ярко сверкают лучистые звезды, безучастные к тому, что происходит на земле.

Где-то в направлении к востоку, как потревоженный зверь, глухо, настойчиво, грозно урчат пушки, ползут багряно-красные и желтые отвесы прожекторов.

В зале, опевая ночь, полковой оркестр наигрывает меланхолически-грустный и в то же время веселый английский «гимн».

Далеко до Типперери, далеко.
Расставаться с милой Мэри не легко.

Сквозь вздохи музыки прорываются мелодичный звон разбиваемых бокалов и топот пьяных ног.

Ко мне подходит молоденькая сестра с растрепанными волосами.

— Почему вольнопер удрал из залы? Ему скучно? Да? Мне тоже скучно. Я сегодня пьяненькая и... дурная. Приласкайте меня немножко, и скука пройдет.

Она берет мою руку и тихо гладит ее своей теплой пухлой ладонью...

Мимо нас пробирается в сад высокий кавалергард с сестрой. Оба пошатываются. Он обнял ее за талию и вполголоса мурлычет какую-то песенку.

Спутница еще плотнее прижимается к нему и отвечает низким, приглушенным смехом. На лестнице он целует ее в губы долгим поцелуем и затем, подняв на руки, несет в кусты... Она притворно повизгивает и колотит его ладонью по шее.

Я сижу на веранде, ожидая солнечного восхода, и с грустью думаю, что вот в эти минуты, когда мы в залитом огнями и роскошно декорированном зале восторгались музыкой, снаряды несли кому-то неотвратимую, короткую и мучительную смерть. Те, которые попали сегодня в зону обстрела, уже никогда не услышат английских поэтов, никогда...

В разрушенном фольварке случайно нашел в груде мусора, перебитой посуды и мебели два томика «Войны и мира» Л. Толстого. Перечитываю в пятый раз.

Во всей мировой литературе нет ничего даже приблизительно равного этому произведению. Бессмысленность войны показана с бесподобным мастерством... Да, мы, Россия, можем гордиться Толстым.

Но почему же этот роман не вызвал у людей отвращения к войне?

Ведь воюем снова. Офицеры всех воюющих армий, министры всех воюющих и подстрекающих к войне государств, несомненно, читали Толстого, но это ничуть не изменило их взглядов на положение вещей.

И война современная в тысячи раз ужаснее той, которую описывал Толстой.

Последние месяцы меня преследовала надоедливая мысль: мне хотелось написать небольшой роман с антимилитаристической тенденцией. Я хотел вложить в свой роман все виденное и передуманное в окопах и походах...

Но сегодня эта мысль о сочинении нравоучительного романа как-то сразу выветрилась и, думаю, навсегда.

И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером,
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

Но Толстого читает не только Россия, его знает весь мир, он переведен на пятьдесят языков, в миллионах экземпляров гуляет его «Война и Мир» по Европе, но не убавилось от этого число дураков ни в России, ни на Западе, ни на Востоке.

Дело, значит, не в пропаганде словом, а в силе, которая солому ломит. Толстой—Толстым, а война—войной.

*

Скука и роковая обреченность, нависшая над окопами, толкают людей на странные действия.

Одни доходят до садизма и сутками добровольно сидят где-нибудь в бойнице, не спуская пальца с взведенного курка: чуть где покажется голова или рука немца—берут его на мушку и убивают. Такие типы есть в каждом батальоне.

Другие выкидывают веселые номера, сопряженные с громадным риском для себя.

Вчера ночью рядовой Малина ползком пробрался без ведома ротного к немецким окопам, привязал за их проволочные заграждения телефонный кабель.

Самое легкое прикосновение к проволоке приводит в действие сигнальные звонки.

Малина, идиотски улыбаясь и пыхтя от наслаждения, дергает кабель и производит в немецких окопах настоящий переполох. Ночь темная и ветреная. Немцы вообразили, что мы подобрались к их окопам и режем проволоку.

В небо метнулись дрожащие лучи прожекторов. Упали на землю, отыскивая затаившегося коварного врага. Отчетливо слышны свистки, топот ног, слова команды.

Через минуту противник открывает ураганный огонь из всех своих пулеметов, бомбометов и винтовок. В слепой ярости бьет до самого рассвета, не давая нам заснуть.

Мы сидим неподвижно в блиндажах, посмеиваясь над наивностью противника.

— Надули!

Если близко от блиндажа падает бомба — с замиранием сердца ждем взрыва, высчитывая секунды, и каждый думает: «Не в этой ли бомбе моя смерть?»

Когда бомба, разрываясь, оставляет нас в живых, мы принимаемся ругать Малину, который растравил «немца».

Чтобы скрыть следы своего «преступления», Малина выкинул конец кабеля за бруствер.

Но ротному кто-то сообщил по секрету. За ночь на участке батальона из строя выбыло пять человек убитыми и девять ранеными.

Говорят, что ротный, вызвав к себе в землянку Малину, несколькими ударами кулака раскровянил ему лицо.

Малина ходит с припухшей левой щекой и всем весело подмигивает:

— Знай нашинских, скопских.

Малина — герой теперь. К нему относятся с уважением. О нем будет знать вся дивизия.

*

На других фронтах начались отступления и наступления. Скоро очередь за нами.

Ждем приказа.

Немецкий аэроплан, подбитый нашей артиллерией, снизился в междуокопном пространстве и, трепыхнувшись несколько раз, подобно раненой птице, плотно приник к земле. Пилот и механик, пытавшиеся бежать, убиты нашими стрелками.

В течение недели этот аэроплан является центром внимания обеих воюющих сторон. О падении самолета

в тот же час полетели соответствующие эстафеты по всем инстанциям.

Наши «начальники» дали строгий приказ: «подбитый артиллерийским огнем аэроплан является трофеем, который во что бы то ни стало нужно «достать» и сдать «по назначению».

Но достать аэроплан, который находится на таком же расстоянии от наших окопов, как и от немецких, немножко труднее, чем написать приказ.

Немцы, вероятно, получили от своего начальства такое же задание.

И в течение недели ночью и днем только тем и занимаемся, что достаем подбитую птицу.

Немцы хотят привязать к самолету канат и утащить его к себе; мы напираем на этот же способ.

К самолету, вылезая из окопов, ползут по изуродованному полю одинокие фигуры смельчаков с канатами за поясным ремнем; ползут бесшумно, извиваясь как змеи, плотно прижимаясь к земле... На каждого смельчака из тысячи винтовок глядит смерть. Прежде, чем он успеет подползти к раненой птице и «насыпать ей соли на хвост», меткая пуля прибивает его к земле, и он сам становится «трофеем».

За неделю на подступах к самолету выросли горки наших и немецких трупов. Раненые отчаянно вопят, но помощи им подать нельзя. О них стараются не думать. Нужно выполнить приказ, остальное — необходимые «издержки производства».

От трупов ползет зловоние, которое отравляет каждую секунду существования.

Всем надоело нюхать гниль и трупную вонь. Командиры участков об'явили «перемирие».

Стрельбу прекратили, разобрали трупы, унесли раненых.

К самолету спокойно подошли одновременно наш и немецкий солдаты с канатами в руках и привязали.

Был дан трехминутный срок.

Немцы потянули самолет к себе, мы — к себе.

Это было состязание в силе и ловкости. Тянули долго с переменным успехом.

Аэроплан, кряхтя и подпрыгивая, передвигался от наших окопов к немецким и обратно.

Наконец его разорвали. Немцам достался мотор, нам — крыло с помятым кузовом. Наше начальство и крылу радуется: «все же трофей».

За него кто-то получит повышение в чине, кто-то благодарность в приказе, кто-то попадет на страницы печати, кто-то получит блестящие побрякушки, именуемые крестиками «за храбрость» и орденами.

И за него же... легло больше ста человек безымянных русских и немецких солдат.

*

Немцы последнее время усиленно применяют удушливые газы. Кажется, предстоящая летняя кампания пройдет под знаком газовых волн и химических снарядов.

О газах у нас масса разговоров. И, как везде и во всем — от безделья — к ним приплетается всякая чертовщина.

По окопам ползут фантастические слухи о каких-то баллонах, убивающих сразу целый корпус солдат.

И я вижу по глазам рассказчиков: в эти баллоны верят. Слухи сеют панику, деморализуют армию.

Нас усиленно тренируют на газовом деле. Знакомят с различными образцами масок, читают лекции.

На-днях загоняли в масках «нюхать газы» в громадную брезентовую палатку.

Газовая станция-палатка внушала стрелкам суеверный ужас.

Входили в палатку с трясущимися руками, с дрожащей нижней челюстью.

— Заходи, заходи, — покрикивал фельдфебель. — Не в застенок идете, здесь все по науке налажено.

Не знаю, сколько минут мы пробыли в этой «пробирной» палатке. Казалось, очень долго.

Десять человек «занюхались» и упали в обморок. Их вынесли на руках. Одни неумело надели маски, у других они оказались прорванными, неисправными. А перед входом в палатку маски осматривали и нашли все в порядке.

*

— Пошехонцы мы, — убежденно говорит молодой прапорщик Мулин, — шагая со мной рядом по ходу сообщения.

— В каком смысле, ваше благородие?

Мой вопрос остается без ответа.

— В трех соснах путаемся. Куда повернут наши оглобли, туда и попрем. А зачем? Для чего? Этого никто толком не знает — ни командир, ни солдаты. Где-то там, в высших сферах—завтра решат, что нам надо воевать не с Германией, а с Францией, повернут наши оглобли на

французов, и мы двинемся без размышлений. Нет у нас ни цели, ни понимания смысла событий. И нет у нас ни злобы против немцев, ни любви к союзникам...

Желая подлить масла в огонь, я говорю:

— А вы внимательнее читайте газеты. Там все ясно.

Он останавливается полуоборотом ко мне. Закругленные глаза его искрятся злобой.

— Я совсем не читаю газет и вам не советую.

— Почему?

— Сплошное вранье! Глупость! Взяли тоже моду поносить немецкую культуру, технику, искусство, все. А кто шумит? Купчишки наши, биржевые шулера, инженеришки. Немцы этой касте действительно были опасными конкурентами.

Кричат о возрождении освободившейся от немецкого засилья промышленности.

А возьмите ручные гранаты русского изделия! Стоят они втрое дороже немецких, а поражаемость в тридцать раз меньше. Но все-таки свое. Как же не кичится? И так везде, во всем. Плакать бы надо от таких «успехов», а не радоваться.

•

Вывели на небольшую долину на опушке леса. Рассыпались в цепь.

С надветреной стороны пустили газы.

Очередной практический урок.

Лежим в масках и нюхаем.

Это напоминает восточную кофейню, где тысячи человек безмолвно, сосредоточенно тянут гашиш, опиум, нюхают кокаин.

Дышать в маске трудно. От напряжения стучит в висках и в груди, в затылке прыгает колющая страшная боль. Некоторые не выдерживают, сбрасывают маску и, не слушая команды, подгоняемые страхом смерти, бегут против ветра на бугор, где услужливые химики разложили свой смертоносный товар.

Но смерть быстрее людей.

Падают, не добегая до спасительного бугра. Судорожно царапают рыхлую землю скрюченными в предсмертной судороге пальцами. Жадно глотают раскрытыми ртами отравленный воздух.

Санитары в масках бегут на помощь. Мгновенно раскисшие тела качаются на походных носилках. Сквозь брызги слюны и кровавой пены с воспаленных губ слетают проклятия и дергающие за нервы стоны.

Ругают химиков за изобретенные газы и за плохо приспособленные противогазовые маски, ругают бога, ругают начальство.

*

Случайно попал в караул на дивизионную гауптвахту. Мрачная, вонючая, покрытая плесенью землянка. На пятидесяти квадратных саженях этой тюрьмы размещено пятьдесят восемь арестованных.

Босые, грязные, со спутанными волосами, истомленные голодом и отсутствием воздуха, они всем своим видом кричат и протестуют против войны.

Кто они?

Мародеры, злостные дезертиры, социалисты, агитирующие в окопах против войны, просто «вольные» граждане, заподозренные в шпионаже,

Многих держат незаконно. С голодовкой не считаются. Прогулок не дают. Да и о каком законе может итти речь на фронте? Каждый командир полка на своем участке — царь, бог и законодатель. Он может засадить под замок в землянку сотню мирных жителей, может по одному подозрению в пособничестве врагу выжечь целую деревню, расстрелять десяток невинных людей, и никто не потребует у него отчета в этих поступках.

Оружие и сознание безнаказанности опьяняют людей. Умственные дегенераты, в мирное время беззаботно бренчавшие шпорами по скверам или стоявшие за прилавками, теперь, попав в прифронтовую полосу, возомнили себя Соломонами и проявляют уйму энергии в деле выискивания шпионов, изменников, заговорщиков. Вмешиваются решительно во все. Терроризуют мирное население. Плюют на этику, на право, на совесть, на здравый смысл...

*

Голод. Пайки все уменьшают.

Наши солдаты ходят побираться в близлежащие деревни. А деревни разграблены дотла, жители сами голодают. Женщины-матери и девушки-подростки отдаются за краюху хлеба, за котелок жесткой солдатской каши.

Артиллеристы и кавалеристы живут всегда в тылу. Обеспечены лучше, одеты чище, землянки у них аккуратненькие, с деревянными полами, с оконцами.

Пехотинцы завидуют им. Ходят к ним в гости, приносят кусочки темного подмоченного сахара, пригорелые ошметки каши, заплесневелые корочки хлеба, не обглоданные кости.

И чем сильнее чувствуется недостаток продуктов и обмундирования, тем нахальнее и откровеннее идет воровство и хищение.

*

Утомление войной, кажется, лучше всего измеряется количеством пленных.

Наши уходят к немцам при всяком удобном случае целыми взводами.

Иногда, отправившись на разведку, команда убивает офицера, бросает оружие и, натолкнувшись на противника, сдается в плен.

Немцы в долгу не остаются. По всем прифронтовым дорогам плетутся вереницы пленных, сопровождаемые незначительным конвоем.

Особенно много идет в плен чехов, мадьяр, австрийцев, украинцев.

Самое комическое в этом закономерном пленении — то, что каждую партию уставших от кровопролития, возненавидевших войну или природных трусов, добровольно пришедших в плен, наши командиры рассматривают как трофеи:

«После упорного боя захвачено в плен», — пишут в донесениях. И за это получают награды, крестики, хвастают.

Чем больше я присматриваюсь к действиям военных профессионалов, к их жизни на фронте, к их психологии, тем сильнее я их ненавижу.

Война для известной части кадрового офицерства — это то же, что необыкновенный урожай для мужика, выпадающий раз в двадцать лет.

Мужик в такой год, естественно, чувствует себя героем, он на седьмом небе от счастья.

*

Самострелы утихли. «За неосторожное обращение с оружием, следствием коего явилось легкое ранение с повреждением верхних конечностей, делающим потерпевшего неспособным к военной службе», многих осудили на каторгу, многих расстреляли без суда.

Чтобы скрыть следы самострела, стрелки обертывали руку, в которую намерены были стрелять, мокрой портянкой.

Портянка предохраняет кожу от ожога и порохового налета.

И это расшифровали.

Теперь выдумали новый способ: калечат руки капсюлями ручных гранат.

Стоит только зажать капсюль в руке и стукнуть кулаком о твердое — легкий взрыв, и ладонь разлетается в куски; пальцы, державшие капсюль, трепыхаются на земле.

Перед каждым наступление выдают на руки по две гранаты с капсюлями.

И перед каждым наступлением из роты выбывает восемь—десять стрелков, искалеченных капсюлями.

Батальонный ад'ютант, разбирая гранату, ругал русских ученых:

— Хвастают: «мы да мы», а ничего дельного изобрести не могут. Посмотрите на русскую гранату: ведь это—не граната, а средство для освобождения от военной службы. Еще два года войны—и все наши солдаты будут

беспалыми... И судить их за это нельзя. А попробуйте вы ранить себя немецкой или английской гранатой...

*

Третий день под ряд отбиваем немецкие атаки. Осатанелое солнце так некстати обдает нас снопами испепеляющего зноя.

Воды под рукой нет, а хочется смертельно пить. Курева тоже нет.

Немцы, как всегда, параллельно с атаками ведут усиленный обстрел нашего тыла.

Третья линия на этот раз пострадала не менее первой. Ее сравняли с землей. Все телефоны, связывающие нас со штабами, оборваны.

Шесть раз подбегали скованные железной дисциплиной загорелые усатые люди к нашим окопам и, изрешеченные, смятые огнем пулеметов и винтовок, шесть раз они откатывались обратно, устилая трупами каждую пядь земли.

Раненые, забыв дисциплину и всякие понятия о чести родины, мундира, громко шлют кому-то проклятия.

Кого проклинают?

Нас? Своих командиров? Правительство?

Вероятно, всех. Все виноваты.

Живые уходят в свои окопы.

Раненые в междуокопном пространстве зовут на помощь своих друзей, зовут и врагов, но ни те, ни другие не идут их подбирать...

И вот уже третьи сутки тяжело раненые лежат перед нашими окопами рядом с убитыми, с разлагающимися и гниющими мешками мяса. Эту картину я вижу на

фронте не впервые, но она всегда производит одинаково кошмарное впечатление.

Прапорщик Горбоносов, нежный, впечатлительный юноша, только-что прибывший из училища в шестую роту, надел маску, чтобы спастись от трупного запаха. Над ним смеются и офицеры и солдаты, хотя сами поминутно сплевывают и ругаются матом в знак протеста против того же трупного запаха.

Очевидно, матерщина предохраняет от заразы не хуже маски.

*

Когда немцы, обессиленные атаками, смолкли, мы получили запоздавший приказ: «приготовиться к контратаке».

За три дня беспрерывной пальбы и нервного напряжения мы устали, вероятно, не меньше немцев, которые нас атаковали.

Новички бодрятся, улыбаются. В грубых шутках стараются утомить надвигающуюся на сознание жуть предстоящего «дела».

«Старики» держатся спокойнее.

Но движения людей, не спавших три ночи, вялы, угловаты, насильственны. Люди напоминают лунатиков. Кажется, все плюнут на распоряжение начальства, упадут на землю и заснут долгим безмятежным умиротворящим сном, подложив под голову грязную скатку шинели.

Взводные механически пересчитывают людей, приводят в боевую готовность взводы, инструктируют отделенных, стрелков, но делают это без под'ема, как давно опостылевшее, никому ненужное дело.

На лицах взводных та же апатия ко всему предстоящему, что и у рядовых стрелков.

*

Атаковали немцев в течение целого дня с таким же успехом, как они нас в предыдущий день.

Только немцы за три дня потеряли меньше людей, чем мы за один день. В этом вся разница.

Уцелевший каким-то чудом Хрущов, показывая мне продырявленную фуражку, шутит:

— Мы, русские, не чета немцам: натура у нас широкая, оттого и больше полегло наших.

Кто-то возражает ему:

— Какая, батенька, натура: просто немцы немного умнее нас и лучше вооружены. В этом весь секрет.

Если мне, как участнику только-что закончившегося боя, предложат сейчас написать хотя бы схематическую картину его — не смогу. И ни один из участников не сделает этого.

Дать реальную, фотографически верную картину невозможно.

Мысли придавлены чем-то бесформенным и тяжелым. Некогда думать, осмысливать ход вещей.

Я совершенно не видел или уже забыл, что делалось вокруг меня.

Помню, как во сне, что бежали вперед, не ощущая под ногами земли, и дико орали. Падали под свинцовый хохот пулеметов в ямы, хоронились за теплые сочившиеся кровью трупы только-что павших товарищей; когда пулеметчик менял ленту, вставали и с криком бежали вперед.

Выпученные от ужаса глаза засыпало взбитой землей, дымом, они слипались от адской усталости; хотелось спать.

Мы добежали до самой проволоки. Рвали ее руками, сбивали прикладами. Резали ножницами, точно хотели выместить на этой проволоке свои обиды и муки.

Проволока лопалась от напора навалившихся на нее с остервенением и животным ревом тел, тонко звенела и выла.

— Ууу! Ааа! Ооо!..

А со стороны противника медленно наползало серо-зеленое полукольцо.

Все ближе и ближе злобное харканье, прерывистый грохот пулеметных раскатов и частые нервные вздохи винтовок.

Огненный град свинца и железа с гулким рокотанием стелется по самой земле, испепеляя все движущееся и живое.

Сколько времени мы пробыли у заграждения? Не помню, не знаю. Может быть, прошли секунды, может быть, минуты.

Но скоро у проволоки образовались настилы пробуравленных, искромсанных тел...

Немцы незаметно выросли по ту сторону проволоки. Они расстреливали нас в упор, но мы, увлеченные истязанием заграждений, не обращали внимания на пули. В эти минуты мы впали в идиотизм.

Отступили тогда, когда немецкая артиллерия ударила шрапнелью в лоб, поражая своих и наших.

*

Кончился бой.

Перед последней атакой, пользуясь попутным ветром, немцы пустили газы... Отравили раненых — наших и своих.

Шинели и гимнастерки от газов покрылись желтым налетом.

Медные пуговицы позеленели.

Сиротливо свернулась и поблекла кудрявая листва на кустах и деревьях.

Мертво и жутко.

Все кругом тщательно вылизала своим прокаженным языком «матушка-смерть».

Вот когда начинается настоящая война!

Вильгельм сказал:

— Войну выиграет тот, у кого крепче нервы.

Нервы у офицеров и химиков, пустивших газы на раненых — в том числе на своих — надо полагать, крепкие...

Да нервы ли это? Может быть, просто помешательство? Ведь можно же сойти с ума за последние три дня.

Вчера кто-то в немецких окопах пел петухом.

А многие из наших состарились и поседели на моих глазах.

Тупоумный стрелок Маврин, по прозвищу Чурилко-Об'едало, радостно говорит:

— Ох, поедим теперича, робя. Продухты выписаны на эти дни на весь полк, а много ли народу осталось?..

Маврин от удовольствия сладострастно прищелкивает языком.

*

Нас миллионы. И стоит только нам захотеть, чтобы войны не было и ее не будет в тот же день.

Ведь стоит только повернуть оружие против тех, кто нас натравляет друг на друга, и конец этому омерзительному кровавому делу.

Их, наших министров, генералов, попов и просто патриотов — поставщиков и ростовщиков, нагревающих руки в крови народа—даже убивать не надо, даже руки пачкать о них не надо. Стоит нам, миллионам, массе вооруженных людей, только цыкнуть на них погрознее, и вся их спесь испарится в одну секунду.

Стоит только дерзнуть...

Но мы не дерзаем. Нам недостает самого важного — организации.

*

Утро ясное и звонкое.

Небо, казавшееся вчера, в черных провалах взрывов и земляных столбов, таким озлобленно-суровым и мрачным, сегодня вольно и радостно сверкает любовным, несказанно-пленительным розовым отливом.

Сладко дремлет остывшая за ночь земля. С тихим, еле уловимым хрустом расправляются примятые травы и цветы.

В кустах, как в доброе мирное время, наяривают звонкоголосые птахи, приветствуя наступающий день.

Хороним павших товарищей.

Из прибывшего накануне в наш полк пополнения почти ничего не осталось.

Все эти рослые, мускулистые, веселые парни превратились в обезображенные, неузнаваемые куски мяса.

Многие упали грудью на проволоку и, подрезанные на ней пулеметным огнем, висят сплошной темнобурой лентой. Издали их никак нельзя принять за трупы. Кажется, что кто-то развесил на проволоку сушить половики или цветное белье.

Ветер раскачивает тела, и обильно смоченная кровью проволока скрипит, звенит и стонет, содрогаясь от совершающегося кругом злодейства.

Сколько товарищей выбыло из жизни! И пораженцы, и оборонцы — все лежат рядышком, скрючившись на земле, все висят на одной проволоке.

Они ушли — и нет для них возврата.

От них остался только ряд имен.

Но и имена их будут скоро-скоро всеми забыты. Только матери-старушки изредка где-нибудь будут вспоминать свое безвременно утерянное детище.

*

Трупы закопали слишком мелко.

Все были переутомлены, не хотелось копать могилы, таскать землю на курган.

Земля на могилах осела и провалилась. В провалах выглядывают отвратительные, облезлые, кишащие могильными червями черепа... Выставились синие костяки ног, рук, оскалы зубов...

Когда ветер дует в нашу сторону, нет сил терпеть: мы задыхаемся от зловония. Зловоние убивает не только аппетит, но и сон. Когда ветер дует в сторону «колбасников», наши стрелки подпрыгивают от радости. Эгоизм здесь проявляется без стеснения.

*

Отступаем. Скорость отступления измеряется резвостью наших ног и напором немецкой армии.

На мостах и переправах, на узких шоссе, пересекающих болота, давка, драки. В моменты паники командиры отдельных частей превращаются в средневековых феодальных князьков и не подчиняются никаким инструкциям.

Многие ушли в плен, воспользовавшись суматохой. Самое комичное, что видел я на этом перевале — «отступление» двух священников.

Офицеры бросили их на произвол судьбы. Они упросили проезжавшего кашевара вывезти их из линии «огня». Кашевар усадил одного огромного рыжего священника на спину запряженной в походную кухню лошади, а другого в самую кухню, где еще были остатки супа.

С таким комфортом служители культа скакали сломя голову сорок верст.

Загнанная обозная кляча упала за полверсты до назначенного бивака.

Рыжий батюшка, восседавший верхом, долго растирал, лежа на траве, живот и ноги.

— Кишки у него, слышь, переболтало, потому без седла ехал, — острили солдаты, обступившие его со всех сторон.

Другой священник вылез из кухни в самом непрезентабельном виде: все одеяние его и густые роскошные, цвета яровой соломы волосы были обильно смочены остатками супа, в бороде бирюзой понатыкана крупа. Суп на рытвинах плескался в кухне и обдавал его с головы до пят. А остановиться и вычерпать злополучный

суп под огнем противника - некогда. Перепуганный кашевар гнал, что есть мочи.

Кашевара батальонный лично благодарил за «геройский подвиг» и обещал представить к «георгию».

*

В тыловых учреждениях и организациях появились драматические, балетные, оперные и цирковые труппы, хоровые капеллы, струнные оркестры.

Это «соль земли» — российская интеллигенция — спасает отечество. Вокруг штабов и тыловых частей в прифронтовой полосе настоящие ярмарки.

Все актеры академических и анемических театров, подлежащие по своему возрасту мобилизации, и просто интеллигенты, не имеющие ни голоса, ни слуха, не умеющие ходить по сцене, превратились в военных актеров. Боязнь попасть в окопы у этих людей настолько сильна, что они выдумывают всяческие театральные комбинации, чтобы окопаться там, где не свистят пули.

Они из кожи лезут, доказывая, что искусство—подлинное, святое искусство, носителями которого они являются — лучшее средство для поддержания духа доблестной русской армии. Они клянутся всеми святыми, что без театра не может и не должен существовать ни один тыловой полк, ни один уважающий себя штаб.

Подличают, дают взятки деньгами, телом своих жен и любовниц, чтобы только спастись от серой шинели, от походного мешка и от первой линии.

А кончится война — все эти слюнтяи, шкурники, подхалимы, все эти многоликие Добчинские и Бобчинские мещанства нашей эпохи десятки лет будут хвастать

своими подвигами и будут рассказывать военные анекдоты, вывезенные с «поля брани»...

«И мы пахали».

*

Приехал из отпуска ефрейтор Глоба.

Давал нам «интервью».

— Кончится война, братцы, хуч домой не вертайся. Такое расстройство жизни пошло.

Коней хороших отобрали в казну.

Коров тоже отбирают...

Бабы и девки с ума посходили. Отдаются направо и налево.

Все равно, говорят, пропадать: мужиков перебьют на войне всех до единого.

Девки на инвалидов, на стариков лезут, снохачество развелось в каждой деревне.

Солдаткам старшина из волости пленных австрийцев дает для работы. Австриец днем пашет, а ночью солдатке ребят делает. Гуляют сподряд шельмы; брюхатые ходят и никаких не признают... Австрийцы жирные, от'елись у наших баб. Последнее им отдают. Девки дерутся из-за пленных.

Богатые мужики от войны на заводах в городу спасаются, на оборону работают. Лошадей у богатеев не взяли, откупились взятками. Дохтура и фершала — все берут, кто вареным, кто жареным, кто сырым. Весь народ с ума сошел.

Солдаты слушали Глобу, опустив глаза, и трудно было сказать, о чем думают.

*

Ночевали в полуразрушенном местечке. Оно было когда-то богатым. Об этом свидетельствует и грандиозная церковь и не один десяток солидных домов с большими фруктовыми садами. Но теперь в нем ничего нельзя купить. Оно несколько раз в течение войны попадало под обстрел, переходило из рук в руки. Разрушали и грабили обе армии.

Наше отделение разместилось у одинокого помещика, пана Згуро. Он—что-то среднее между чехом и поляком, но тяготеет к Польше. Его семья, состоящая из жены и двух дочерей, более года тому назад эвакуировалась в Россию.

Он остался в своем гнезде с кривым угрюмым работником и со старухой-кухаркой, чтобы охранять имущество и сад. И в его просторном разграбленном войсками доме царят тяжелая скука и пустота.

Офицеры не любят останавливаться на постой в домах, где нет молодых женщин.

Дом Згуро остался нам.

Хозяин угостил нас прошлогодней, уже проросшей картошкой и сушеными яблоками. Яблоки — единственное, что уцелело от грабежа. В буфете у него нет ни одной серебряной ложки.

Згуро, по его словам, вначале войны был ярым патриотом. Теперь он «разочаровался» в войне и озлоблен на всех людей вообще.

*

Двенадцать часов ночи. Прощаюсь с хозяином. Мне не хочется спать. В комнатах душно.

С разрешения хозяина отправляюсь погулять в его саду.

Полная луна заливает сад сверкающим синим сиянием.

Кроны пахучих яблонь качаются в ленивых зигзагах феерической дымки, поднимающейся от земли.

Местечко спит. Смолк солдатский гомон. Только в редких окнах еще мерцают запоздалые огоньки.

В соседнем помещичьем доме, где остановились офицеры первого батальона, не спят. Кто-то, должно быть, пьяный, однообразно тренькает на пианино. Разбитый инструмент под неопытной рукой музыканта издает неприятные харкающие звуки. Согласованный стрекот кузнечиков рядом с ним кажется божественной музыкой.

Я, опустившись на траву, вытягиваюсь, закрываю глаза и ощущаю во всем теле радостное успокоение.

В отдыхающем мозгу слабо маячат пережитые и воображаемые видения.

В соседнем саду послышались густые мужские голоса, заглушаемые волнующим смехом женщин.

Кто-то, отчаянно фальшивя, запел испанскую серенаду. Гитара аккомпанирует.

В одно из отверстий плетня пролезла парочка и, нежно воркуя, направилась в мою сторону.

Девушка, высокая и стройная, в белом платье с открытой головой. Фигура ее спутника кажется мне знакомой, но лицо остается в тени, и я не могу хорошенько разглядеть его.

Шагах в десяти от меня они остановились. Тела их изогнулись и слились в одно... Прозвучал приглушенно поцелуй.

— Сядем здесь, панна Зося, — просительно говорит мужчина.

— Хорошо, сядем,—отвечает просто девушка.—Только дайте честное слово, что не будете безобразничать.

— Даю, — радостно бормочет мужчина, увлекая девушку с собой на траву.

Хочу встать и уйти, но какое-то странно болезненное любопытство, нахлынувшее вдруг, приковывает к месту, и я остаюсь.

— Почему вы с сестрой не эвакуировались отсюда, панна Зося? — спрашивает мужчина.

— Зачем? — наивно и лукаво бросает она.

— Как зачем? Мало ли что может случиться? Сегодня здесь мы, завтра немцы.

— Немцы с женщинами не воюют,—тем же тоном отвечает девушка.

— Да, но вы сами понимаете, панна Зося, что такой хорошенькой женщине, как вы, не совсем безопасно... Вы знаете, немцы, они...

— Пустяки! — уверенно восклицает девушка. — Немцы были у нас три раза, наш дом был занят офицерами. Они держали себя настоящими рыцарями. Они сделали много ценных подарков мне и сестре Зизи.

— За что? — в голосе мужчины нотки подозрения.

— Как за что? — удивляется девушка. — Вы же сами сто раз называли меня и хорошенькой и пикантной. Разве хорошенькая женщина не имеет права на особенное внимание со стороны мужчины.

— Простите, но я хотел лишь сказать...

— Не прощаю! — сказала девушка и, засмеявшись чему-то, ударила кавалера ладонью руки.

— Какие у вас чудесные руки, панна Зося! Мне хочется их без конца целовать, целовать...

— Поцелуйте, пожалуйста.

— Я в вас влюблен, панна Зося.

— Ого, как быстро!

— Да, да, панна Зося.

— Но мы... с вами только сегодня впервые встретились.

— Ничего не значит. Жизнь так коротка, панна Зося. Нужно спешить. Нужно брать от жизни все, что она дает нам прекрасного.

— Ишь вы, какой философ, — мечтательно проговорила девушка и опять чему-то тихо засмеялась.

— Чему вы смеетесь, Зося?

— Так. Просто мне весело. Скажите: вы на каждом ночлеге так быстро влюбляетесь?

— Что вы, панна Зося? Помилуйте. Как вам не стыдно подозревать меня в подобном донжуанстве... Вот в наказание за это я вас поцелую...

Он притягивает ее к себе, звонко чмокая и сопя, целует долгим поцелуем.

Тьма накрывает их тела.

Разговор смолк.

Я поднимаюсь с земли и направляюсь к калитке.

Навстречу мне идет еще пара «влюбленных».

Они подозрительно оглядывают меня и, плотно прижавшись друг к другу, точно скованные цепями каторжника, проходят в глубь сада.

В темных прогалах деревьев уже пламенеют шафранно-красные блики утренней зари.

Чист и прозрачен молочный воздух, освободившийся от удушливого зноя и крепко пропитанный запахом цветущих яблонь.

В синем полотне неба встревоженно курлыкают журавли. Я иду спать.

*

В хату вбегает вестовой ротного и радостно кричит:

— Братцы! Война скоро кончится!

Все встрепенулись, как на пружинах.

— Кто сказал?

— Откуда знаешь?

Распуская сияние улыбки по своему лунообразному лицу, вестовой продолжает:

— Кыргызья пригнали сюда, окопы рыть будут, лес таскать; русского народу нехватат больше, некого брать в деревнях, все года забраты. Ясно, войне конец.

Разочарованно машем рукой и идем на улицу смотреть «кыргызье».

К нам действительно пригнали на окопные работы подданных из средне-азиатской России.

Солдаты обступили «восточных человеков» и оживленно разговаривают при помощи языка и мимики.

Важный толстый сарт, опустившись на коленки и подобрав полы длинного цветного халата, мочится. Солдаты, глядя на него, надрываются от хохота:

— Не умеешь по-русски, Абзей?

Восточные человеки степенно оглядывают солдат ленивыми грустными глазами.

*

Какой-то «прапорщик юный» из пятнадцатой роты поссорился из-за женщины с проезжим ротмистром Н-ского кавалерийского полка и вызвал его на дуэль.

Дуэль состоялась за околицей. Стреляли из наганов на расстоянии двадцати шагов. Дама сердца, послужившая яблоком раздора между двумя воинами, присутствовала тут же.

Прапорщик первым выстрелом убил ротмистра наповал.

Ротмистр, оказывается, был заслуженным боевым офицером. Дважды ранен в боях и ни разу не эвакуировался далее дивизионного госпиталя. Награжден «Владимиром».

Теперь вопрос о дуэли дебатируется в каждой роте.

Угреватый поручик в синем френче убеждает капитана Хрущева.

— Раз вышла ссора — дуэль была необходима.

— К чорту дуэль, — резко кричит обычно спокойный Хрущов. — Вызовет меня какой-нибудь дурак, мальчишка, которому просто ж... выдрать ремнем нужно, а я, чтобы не показаться трусом, должен с ним стреляться. Благодарю покорно! К чорту дикарей! К чорту дикарскую мораль, согласно которой из-за бабьей юбки убивают на дуэли лучшего офицера.

*

Командир полка собрал всех вольноопределяющихся и тоном, не допускающим возражений, угрюмо сказал:

— Ну, господа, довольно вам дурака валять. Все вы, имея среднее или высшее образование, в силу разных причин не попали — не захотели попасть — в военные училища и остались рядовыми.

Нашей родине предстоит еще много тяжких испытаний. Требуется неимоверное напряжение и строжайшая

экономия всех живых сил, культурных сил в особенности.

У нас нехватает старшего и младшего командного состава. На время зимнего стояния мы решили открыть при полках фронтовые учебные команды.

Всех вас я назначаю в нашу учебную команду в качестве курсантов. Срок обучения — пять месяцев.

Мы грустно переглядываемся. Многим эта перспектива не улыбалась.

Сделав передышку, генерал закончил:

— Надеюсь, господа, что из вас выйдут отличные боевые унтер-офицеры. Желаю вам успеха. Можете итти.

И вот мы в команде. Граве, Анчишкин, Воронцов и вся остальная братия.

Стоим в деревеньке на расстоянии десятка верст от полка.

Дисциплина в команде такая же, как в запасных батальонах петроградского гарнизона.

Взводный Трофимчук, зачисляя меня в свой список, счел долгом прочесть нотацию. Ввел в «курс».

— У меня, брат, забудь, что ты есть вольнопер. У меня здеся все равны. Буду тебе гонять, дондеже песок не посыпется. А ежели проштрафишься, непокорность проявлять будешь — изобью шомполом. Изобью — и жаловаться тебе некуда: здесь не Петроград.

*

Два года с лишним войны, и ничему не научились. Консерватизм и рутина не сдвинулись ни на иоту.

В команде бездушная муштра, зубрежка, зуботычины. И ни одного живого, дельного слова.

Взводные на строевых занятиях ходят со стеками или с шомполами.

Бьют солдат походя.

На уроках словесности в низеньких хатах, где неудобно оперировать шомполом, дерут за уши.

Философия у взводных замечательная:

— Нас еще не так драли.

Это же самое, помнится, слышал я в Петрограде.

Месяц, как я в команде, и, откровенно говоря, ничему не научился. Наоборот, чувствую, что поглупел.

И как эта армия еще держится? Чем она жива? Неужели одним мордобоем?

*

Циркулируют упорные слухи о разрыве дипломатических сношений между Американскими Соединенными штатами и Германией.

Офицеры и рядовые стрелки возлагают на Америку надежды.

Денщик взводного Платошка вчера ораторствовал:

— Как только Америка подымется, немцам каюк! Сразу войне конец и нам всем бессрочный отпуск по домам.

— Ну, ты не ври, добрый молодец, — подзадорил Платошку добродушный парень с пепельными волосами.

— Чего не ври! Американцы, как господа офицеры сказывают, богатеющий народ в мире. Всех богаче. Опять же техника у них. В песок сотрут. Это не то, что наша армия — на трех стрелков одна винтовка: жди, когда товарища твоего убьют, а пока иди в атаку с саперной лопаточкой.

Платошке сочувственно улыбаются.

Воевать чертовски надоело. Первые годы войны надеялись на бога, на Егория храброго, на Илью-пророка, на деву Марию, на англичан, на французов, даже на румын. Но никто не помог. Вера в бога сейчас утеряна.

Французы и англичане все время стараются выехать на русской армии.

Румыния, сунувшаяся «спасать» Россию, получила от немцев такую взбучку, что от нее ничего не осталось, кроме названия.

Ввяжется ли Америка в войну?

Если ввяжется, то спасет ли?

*

На уроке словесности взводный развертывает перед нами газету и вслух читает описание трогательной истории «об утерянном и возвращенном» знамени одного из русских полков.

Во время памятного разгрома самсоновской группы в Восточной Пруссии в 1914 году отважная — конечно, патриотка — сестра милосердия случайно подобрала на поле брани (конечно, в немецком тылу) брошенное в суматохе знамя русского полка.

Спрятав знамя себе в панталоны, сестра пошла в немецкий плен и так путешествовала с ним около года по всей Германии, пока не была отпущена в Россию благодаря известному соглашению.

И вот теперь о ней кричит вся Россия, военные пьют за ее здоровье, священники возносят за нее молитвы, журналисты называют ее русской Жанной Д'Арк.

— Поняли? — спросил взводный, окончив чтение.

На нас эта история не произвела того впечатления, на которое рассчитывало начальство.

— Так точно, — гаркнул натужно одинокий голос. Остальные молчали.

— А ну-ка, Волдырев, расскажи, что понял? — говорит взводный.

Волдырев, самый неуклюжий и малограмотный из всей команды, испуганно мигает косыми монгольскими глазами, не зная, как реагировать на это слишком сложное событие.

— Ну, — грозно рычит взводный, топорща тараканьи усы.

Волдырев кряхтит и решается.

— Так точно, господин взводный, по-моему все это баловство одно, дурость бабская. Кому это знамя нужно теперь? Тряпица старая, на портянки не годна... Сгнила, поди. Все равно новое делать надо.

Изумление на лице взводного борется с гневом. Гнев одерживает верх. Грозно хмурятся брови.

— Вот дурак! Вот дурак! Да пойми ты, скотина безрогая, что знамя-то — хоругвь, святыня, а не просто тряпка!

— Какая уж теперь святыня! — упрямо бормочет покрасневший Волдырев. — Год целый у бабы промеж ног болталась...

Не выдерживаем и безудержно хохочем...

Взводный целый час гонял нас гусиным шагом.

Вытягивая шеи, мы точно попугаи под каждый шаг злобно бубним:

— Знамя есть священная хоругвь...

*

Нашли два старых, брошенных беженцами зеркала, соорудили стеклограф. Валики для прокатки смастерили сами. Реактивы и чернила достали в штабе дивизии, через знакомого писаря.

Нас маленькая сплоченная группа, остальные курсанты команды ничего не знают.

Теперь можем сами печатать. Радуемся точно дети, которым подарили оригинальную игрушку.

Перепечатали на курительной бумаге несколько старых прокламаций против войны, полученных мною с посылками из Москвы. Распространили среди своих и через обозников в соседних полках.

Воронцов предложил напечатать что-нибудь свое о местных настроениях и фактах. Я составил маленькую листовку «на злобу дня».

Оттиснули сто экземпляров. Мучились целую ночь. Никак не проявлялся текст. Ужасно капризная вещь этот стеклограф: то передержишь, то недодержишь... Получаются плешины, мазня...

Двое работали, один стоял «на стреме» у дверей.

Листовка пошла по рукам, и так приятно наблюдать вызванное ею оживление в нашей среде. Не посвященные таращат глаза, как бараны.

Одну листовку ночью наклеили на кузов походной кухни, другую на дверь халупы, где квартирует начальник учебной команды.

*

Из всей команды только я один играю сносно в шахматы. Начальник команды, зная это, изредка приглашает меня к себе сыграть партию.

Сегодня, сидя со мной за шахматной доской, он неожиданно говорит:

— Вы знаете, у нас пошаливают. Прокламашки появились... Да, да, на дверь мне прилепили даже, мерзавцы!

Меня передергивает. Я чувствую, что предательски краснею, и низко нагибаю голову над столом.

— Мне сдается, что печатают их где-то здесь, поблизости. Вы не слыхали от солдат?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — говорю я, делая на доске глупейший ход. Правая нога под столом дрыгает в нервной дрожи.

Партию я проиграл.

*

Ночью выпал глубокий снег.

Низенькие хатки утопают в голубых гребнях сугробов.

Хлопьями пушистой марли окутаны деревья.

Ходили на тактические занятия и вернулись измученные до крайнего предела.

Многие, отказавшись от ужина, сразу валятся на лавки, на пол и засыпают, как опоенные снотворным зельем.

Взводный, помещавшийся в нашей хате, выходит из-за перегородки и, выкатив круглые, как луковицы, зеленые глаза, говорит:

— Хлопцы! Воды!

За водой мы ходили к речке, за полкилометра от деревни. На улице метель, и, главное, все дьявольски устали. Воду можно занять у хозяйки.

Молча переглядываемся друг с другом, ожидая, что кто-нибудь наконец скажет:

«Я иду, братцы!»

Но среди нас нет ни Бобчинских, ни Добчинских. Все молчат. Минута молчания кажется вечностью. Взводный, кривя челюсть и захлебываясь, кричит:

— Взвод! За водой бегом марш!

Собрали все отделения, расквартированные в других хатах, которые никакого отношения к этому инциденту не имели.

Но в армии существует в некотором роде круговая порука: все за одного и один за всех.

И мы, шестьдесят человек, привыкших беспрекословно исполнять слова команды, строимся в две шеренги, бегом трусим к реке. Подул резкий ветер, взметая свеже выпавший снег. Поземка режет лицо, кидает в глаза хлопьями пушистого снега, пронизывает до костей.

С трудом поднимаем простуженные, обмороженные, сбитые ноги. Плетьми висят вдоль тела одеревянелые руки.

Один только, впереди бегущий, держит в руках ведро. Пятьдесят девять человек — порожняком.

А сбоку, высунув язык, бежит горбоносый, сутулый, похожий на крымскую борзую отделенный Яшма, по прозвищу Мандрило, и злобно шипит:

— В ногу! В ногу! Я вас до реки двадцать раз сгоняю! Службу не знаете!.. Ать-два! Ать-два!..

И когда мы берем ногу, отделенный Яшма подает новую команду:

— Кричите: «Взводный хочет умываться».

И мы кричим до самой реки. Кричим рупором шестидесяти молодых глоток, с отчаянием и злобой в голосе.

Яшма входит в азарт и, ухмыляясь, вопит:

— Громчи! Не чую! Громчи, собачьи дети! До полуночи гонять буду!

И опять навстречу метели, снежным хлопьям, ветру, захлебываясь в сугробах снега, шестьдесят глоток ритмически («громчи») выкрикивают:

— Взвод-ный хо-чит умы-вать-ся!!!

Навстречу с ведрами воды идут бабы и дивчата. Таращат на нас глаза.

Провожают удивленными возгласами.

Наверное, считают нас сумасшедшими.

Шестьдесят человек с одним ведром за водой...

Ночь. В хате тишина, нарушаемая мерным храпом простуженных людей.

Кто-то изредка бредит со сна.

Лежу и думаю о вчерашнем «коллективном» хождении за водой.

Вчера меня разбирал смех. Сегодня настроение изменилось. Мне кажется, что меня всенародно раздели догола и выпороли без всякой вины.

Один голос, суровый и мстительный, шепчет мне в ухо: «Встань, возьми оружие и убей взводного. Отомсти за свой позор и позор своих товарищей. Не бойся! Выстрел твой прозвучит громко и призывно, как выстрел Каракозова. Может быть, ты получишь каторгу, может быть, тебя расстреляют. Но разве жизнь твоя лучше каторги? Да и может ли испугать тебя расстрел?

Ведь все равно ты не уйдешь живым с фронта? Ты будешь убит не сегодня — завтра. Чем ты рискуешь? Впереди гибель. Так умри хоть с треском по крайней мере. Дерзни!»

А другой голос, гаденький и трусливый, как провокатор, шепчет:

«Идиот! Ты этим ничего не достигнешь. Ты убьешь взводного, но разве завтра на его месте не будет такой же грубый солдафон? Ничего не изменится. Имя твое забудут через пару дней.

Народовольцы убили царя, но разве деспотизм от этого ослабел? Разве Александр III не был большим реакционером, чем Александр II? Террористический акт даже против царя — буря в стакане воды...»

*

Окаянные, серые дни.

Булыжником оседают в сознании и не забудутся никогда.

Томительные зимние ночи в нетопленных халупах, без освещения.

Фунт хлеба, ложка сухой гречневой каши, четверть котелка жидкого супа из фасоли или гороха.

Шесть золотников сахарного песку.

Дело с посылками совсем расстроилось.

Посылка из Москвы идет пять—шесть месяцев.

Купить у жителей нечего, сами побираются. Голод сжимает армию железной перчаткой.

Нет сил терпеть и страдать.

Боев нет. Идет перестрелка впустую. Из окопов ежедневно везут мимо нас много больных и сумасшедших. Говорят: среди последних есть симулянты.

Холодов больших нет, — масса обмороженных.

Это наводит на размышления.

Вполне серьезные и нормальные люди, переутомленные войной, одевают сапоги без портянок, чтобы отморозить пальцы и уйти из окопов в лазарет.

Георгиевский кавалер Пупков рассказывал, что в первом батальоне солдаты наливают в сапоги воду, насыпают снег и затем всовывают туда ногу. Чтобы заморозить получше, держат по несколько часов.

Подошва ноги примерзает к подметке.

Разуваясь, оставляют в сапоге клочья содранного мяса и кожи.

*

По ночам часто снятся обрубки ног. Я их видел в санитарных вагонах и лазаретах.

Много, много обрубков.

Во сне я хожу по опустевшим улицам большого города, по цветущей зеленью долине и всюду по бокам вижу оголенные, выставленные бесстыдно напоказ отвратительные культяпки с не зарубцевавшимися кровоточащими ранами...

Сквозь неумело наложенные швы сочится желто-бурый гной, который грозит затопить все окружающее. Иногда, убегая от этих кошмарных видений, я просыпаюсь среди ночи с громким криком.

Мой сосед, кубанец Горбулин, дружески толкает меня в бок:

— Опять тебя заломало?! Прими брому.

Я иду принимать двойную порцию лекарства. Пальцы прыгают, стучат зубы в какой-то непонятной дрожи. В зеркало бы взглянуть на себя.

Засыпая, снова вижу обрубки ног, окровавленные, истерзанные людские туши, сплющенные головы. Все это шевелится и угрожает мне...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Снимали немецкую заставу.

Все учебные команды дивизии собраны в один крепкий, дисциплинированный кулак.

Одели белые саваны с капюшонами.

Что-то жуткое в этом странном одеянии... Может быть, действительно надеваешь смертную одежду и через несколько часов — минут — из актера превратишься в покойника.

Ночь...

Тусклое небо набухло сырой непроглядной тьмой. Тугие порывы ледяного, пронизывающего до костей ветра со свистом и стоном гонят тучи назойливых колких льдинок.

Белая пыль заметает окопы, слепит глаза.

Не слышно ни скрипа шагов, ни разговоров. Не видно людей: все тонет в звенящем шопоте вьюги, снеговых роях, в белом потопе.

Долго кружились в снежной пустыне в поисках небольшой ямки, где присосалось несколько десятков людей с пулеметом.

Подползли. Окружили. Обрушились на головы сонных, дрожащих от стужи паникой, железным горохом английских ручных гранат. Смяли безумно-озлобленным хрипом «ура».

Когда иссякли гранаты и прошло напряжение первых жутких минут внезапного набега, пустили в ход приклады и штыки...

Руководившие операцией подполковник Христолюбов и штабс-капитан Жемчужников оба тяжело ранены своей же, случайно разорвавшейся гранатой.

Командование принимает тупой и трусливый подпоручик Модзалевский.

Выкурив противника, мы не знам, что дальше делать. Ординарец, посланный с извещением о победе, застрял и не возвращается.

Батареи противника уже проснулись, нащупали нас, и воздух дрожит от несмолкаемых гневных громовых раскатов орудий.

Каленые брызги шрапнельной слюны с неумолимой математической точностью стелются вокруг маленькой ямки, переполненной живыми и мертвыми людьми.

Глухо и неэффектно звучат в завывании вьюги ружейные залпы.

Потеряв половину людей, Модзалевский подает команду об отступлении.

Отступая, пленных немцев перекололи. Тащить их за собой под усиленным обстрелом не совсем удобно и безопасно.

Самые трусливые и жалкие яростно пыряют пленников штыками.

Стараются показать свою храбрость, за свою трусость мстят.

Всегда так.

Тот, кто в наступлении идет в хвосте, прячется за чужую спину и дрожит от испуга, после боя кричит больше

всех, добивает раненых, показывает необычайную воинственность своей натуры...

*

Я в госпитале. Голова туго свинчена пахучей марлей и, может быть, от этого она кажется такой тяжелой.

В ушах странное гудение с перебоями: то чаще, то реже. Незнакомая тяжесть клещами сжала сердце, мозг, волю и тело.

С усилием выгибаю одеревяневшую шею, читаю скорбный лист, повешенный у изголовья моей кровати: «Ранение осколком в левый висок и контузия груди». Температура? Ого! 39,2. Высоконька! Но кризис прошел, я это чувствую каждым атомом своего тела. Впереди, значит, опять жизнь! Живая жизнь!

Когда я поворачиваю голову или пытаюсь подняться с койки на локтях, меня тошнит.

Вспоминаю: отступление дурацкое, без плана, без команды.

Я был возмущен тем, что кололи пленных немцев, был вне себя. Бежал, не соблюдая осторожности.

Рывками скакало куда-то ошалевшее сердце.

Оторвался от своих. Туда ли бегу — не думал.

Наткнулся на спутанную, разорванную снарядами проволоку.

Она преграждала путь.

Бросился в сторону, окончательно запутался в лабиринте козел, ершей, мешков с землей и черных зияющих воронок, набитых трупами.

Встревоженный и озлобленный враг бил из всех орудий.

Наши батареи отвечали.

С бешеным ревом летели навстречу друг другу снаряды.

В неподвижно-холодном воздухе стоял сплошной гул, проникающий во все поры тела.

Покрытая ледяной коркой и припудренная снежным покровом земля глухо стонала, как-будто по ней били гигантским молотом великаны-кузнецы.

Где-то порой раздавались крики звериной силы и ярости, переходившие в громовый потрясающий вопль.

Веером поднимались к небу серые тучи снега, земли, обломков и человеческих тел.

Неприятельские окопы скрылись от взора за темной завесой дьявольской метели.

Ввверху над головой—грозное и разгневанное небо без звезд, без луны, без красок, без теней и линий.

Откуда-то птицами порхали ракеты. Треска их в хаосе звуков не слышно было, только видны были во мраке неистовой ночи феерические загзаги их матово-красных, зеленых и синих огней.

Я долго и тщетно, как слепой щенок, совался по всем направлениям, ища выхода из центра разгневанной стихии. Хотел убежать из кольца смерти целым и невредимым.

Не удалось.

Меня обдало жаром разорвавшегося снаряда. Опалило глаза. Невидимая рука сжала все тело, как мокрую тряпку, и, как детский мячик, подбросило вверх.

Не выпуская из рук винтовки, я легко отделился от земли, поплыл по волнам холодного гудящего воздуха.

Надвинулся усыпляющий мрак.

Тишина окутала застывшее сознание и наступил мягкий, желанный покой.

Засыпая, остро чувствовал тошнотворные запахи серы, пороха, жженной кожи, жареного мяса и человеческих испражнений.

И в этот короткий миг загипнотизированного смертью сознания ничего мне не было жаль. Все умерло раньше меня. Все потеряло актуальность, значение. Все, все, за исключением покоя, охватившего измученное вздрагивающее тело, казалось таким ничтожным.

*

Доктор левой рукой держит мою руку, а правой выстукивает грудь.

Я не спрашиваю его ни о чем, он сам начинает разговор:

— Ну, как самочувствие? Так. Ничего, это скоро пройдет. Месяца через два мы поставим вас на ноги. Глухоты не будет — это я вам гарантирую. А сейчас вам нужно побольше кушать, спать, поменьше волноваться и разговаривать. Подлечим и отправим к жене. У вас есть жена?

— Нет.

— Ах, какая жалость! Ну, в таком случае к невесте. Невеста, конечно, есть. Заждалась, наверное, бедняжка.

Доктор ласково улыбается, кивает мне головой и отходит к моему соседу. У соседа ампутированы обе руки.

Я провожаю его глазами.

У моего соседа желто-зеленее, иссеченное каналами извилистых морщин лицо. Огромные желваки заострившихся скул упрямо выпирают вверх, как у трупа.

Строгие остановившиеся глаза горят печальным блеском... Он никогда не стонет, но я знаю, что у него адские боли по ночам.

*

Раненые в палатах много говорят о мире и конце войны, об измене генералов, о шпионаже. Эти разговоры надоели мне еще в окопах.

Когда сестры и врачи уходят из палат, безрукий фальдфебель с тремя «георгиями» на халате рассказывает похабные анекдоты. Репертуар у него богатый.

Раненые жадно глотают фельдфебельские прибаутки и—кто может—хохочут.

Сиделки и санитары тоже слушают. Сиделок не стеснятся, за женщин не признают.

Иногда налетают немецкие аэропланы, сбрасывают бомбы, сеют панику. В палату доносится треск и гул взрывов. Пол под нами качается, как при землетрясении. Двигаются койки, столы, демонической музыкой звенит потревоженная посуда.

Все удирают от окон в глубь палаты. Некоторые залезают в углы, под койки.

Жажда жизни в госпитале у многих появляется ярче, интенсивнее, чем на фронте.

В животном испуге мечутся на своих койках тяжело раненые, жалобно стонут, ругаются. Просят «немедленно» эвакуировать дальше в тыл.

Они исполнили свой долг и хотят отдыхать, а неприятель постоянно тревожит разбойными налетами.

Это бессовестно, наконец они не согласны так воевать...

*

Доктор показывает мне шероховатый темно-бурый трехгранный осколок снаряда, извлеченный из моей головы.

Осколок немудрый, весом меньше винтовочной пули. Череп не поврежден, операция прошла удачно, осложнений нет.

Доктор необыкновенно жизнерадостен. Каждая удачная операция радует его.

Радость доктора мне непонятна. Ну, хорошо, он спас столько-то человек от смерти, столько-то вылечил раньше естественного срока. Но что пользы в этом? Через месяц нас снова погонят в окопы, и снова лишения, муки, ранение или смерть. Если здраво смотреть на дело, то доктор-хирург оказывает тяжело раненым медвежью услугу.

— У вас чугунный череп, — докладывает мне доктор с комической серьезностью.

И по глазам его я не могу понять: шутит он или говорит серьезно.

— Такие черепа — редкость в наше время, честное слово. Ваш череп — это клад для науки. Знаете что, вы должны перед смертью завещать его Московскому университету. Вы воспитанник Московского?

Очевидно, рана на голове у меня была серьезная. Мне вдруг становится весело. Я представляю себе смерть стоящею у моего изголовья в образе уродливо-жадной, развратной старухи с косой в руках и, сотрясаясь от смеха, показываю ей кукиш: «на-ка, матушка, выкуси»...

*

К нам ежедневно приходит в гости — поболтать с легко ранеными — прапорщик Волгин.

Он лежит в соседней палате. У него выбит левый глаз, ампутирована нога.

Его несколько раз собирались эвакуировать для дальнейшего лечения в тыл. Не едет. Здесь работает сестрой милосердия его невеста.

Причина основательная.

Сегодня он, сидя на моей койке, долго разговаривал о своих муках и переживаниях.

— Когда меня привезли сюда с поля сражения, — говорил он тихим, срывающимся голосом, — смерть уже коснулась меня своим крылом. Я твердо знал это. Чувствовал. И потому я был так равнодушен ко всему и спокоен.

В течение нескольких дней душа моя спала, и я был за бруствером жизни, за порогом ее.

Два раза в день санитары осторожно клали меня на носилки и таскали в перевязочную. Теперь, когда раны уже заживают, перевязка причиняет мне мучительные боли, а тогда я ничего не чувствовал.

Когда меня клали на операционный стол, сажали в кресло, пилили мои кости, скребли мясо, ковыряли пинцетами мои гноящиеся раны, я не стонал, не роптал, но всем своим буддийским спокойствием, всем одеревянелым безразличием тела я говорил медикам:

«Скоро ли вы перестанете мне надоедать? Я знаю, что не вылечите... Оставьте меня в покое».

И вот в эти дни затянувшегося кризиса приехала моя невеста Лиза.

Это было так неожиданно.

Она плакала, целовала меня, говорила мне что-то, — может быть, слова любви — но я ничего не чувствовал и не слышал. Я только видел ее.

И я остался жив.

*

Эвакуируюсь с партией выздоравливающих в Смоленск.

Медленно двигаемся на дровешках к вокзалу. Там стоит санитарный поезд, приехавший за нами.

Что это такое? Бред? Сон?

Провожу рукой по лбу. Рука ощущает холодную влажную кожу, складки морщин, так разросшиеся за последние два года. Все на месте.

Оглядываюсь на товарищей: они возбуждены, поражены не менее меня. Но никто ничего не может понять.

Ликующая, смешанная толпа штатских и военных выплеснулась откуда-то из лабиринта кривых переулков и направляется к станции.

Красные флаги — флаги революции. И ни одного царского портрета, ни одной иконы.

Песни — нестройные, грубые, но необычно бодрые, веселые, искренние, волнующие, новые.

Захватывает дух. Хочется петь и орать во все легкие.

Хочется выпрыгнуть с санитарных дровешек на пригаявший, лоснящийся от мартовского солнца снег и слиться с радостно настроенной толпой.

Худощавый студент с копной рыжих волос на голове взбирается на подножку вагона. Толпа плотно окружает его. Красные знамена качаются над головами в воздухе.

— Граждане! Товарищи! Великие дни! В Петрограде революция. Царь отрекся от престола... Вот телеграмма! Граждане! Мы должны...

Голос молодой и звенящий щедро кидает в толпу цепкие, задорные, неслыханные в этом городке слова.

И слова опьяняют, электризируют.

Сотни глоток, сливаясь с паровозными гудками, кричат по-военному:

— Урра! Да здравствует!

Кого-то качают на руках.

Чахоточный чиновник с кокардой на вылинявшей фуражке. Говорит надрывисто, кашляет, то-и-дело поправляя сползающее с носа пенсне. Слова его молоды, буйны, они сверкают тысячами огней.

Вот на «трибуне» рабочий железнодорожного депо.

Говорит не хуже студента. Где он научился?

Все ораторы говорят об одном, но каждый по-своему. Все рады одной великой радостью: царя не стало.

*

Один за другим из золотой лазури небосклона выплывают четыре немецких аэроплана.

Все ближе и ближе в воздухе грозное, предостерегающее гудение мотора.

Со стороны станционного шлагбаума бьет по самолету зенитная пушка. Бьет, как всегда, мимо.

Две бомбы с аэроплана падают на запасных путях вдали от митинга.

Толпа, как подхваченная циклоном, бросается врассыпную, в черные пасти переулков, похожих на кротовые норы.

Забытые в панике красные флаги лижет весенний ветер.

Немецкие летчики отравили все настроение. Бомбами убили большую, только-что вспыхнувшую радость. Люди ждали этого праздника сотни лет...

Знают ли они, какое преступление совершили?

В душу удавом вползает тревога. Серьезно ли это? Как Россия? Как армия? Как же война?

Подавленные собственными думами, молча, без суеты грузимся в вагон.

Едем в Смоленск.

*

На каждой станции митинги.

Всюду ликующие толпы народа.

Газет невозможно достать.

Ликование толпы напоминает первые недели войны. Но там было совсем иное. Сейчас что-то захватывающее, не казенное, выходящее из самых недр.

Заново родились люди. Вежливы, предупредительны. Появились новые, незнакомые слова. Дышится легко и свободно.

Надолго ли?

Выкидываются самые левые лозунги.

*

Меня «подлечили». Давали месячный отпуск — отказался. Приехал в Петроград в свой запасный батальон.

Какие перемены!

И город, и наши казармы, и люди — все неузнаваемо. Как-будто все пропущено через какую-то облагоражи-

вающую и очищающую «всякие скверны» камеру. Хотя есть и теневые стороны, но они тонут, бледнеют на общем фоне положительных достижений.

Казарменная муштра уничтожена. Вход «нижнему чину» везде открыт. Офицеры говорят солдатам *вы*.

Отношения между офицерами и нижними чинами еще неопределеннее: и те и другие явно друг другу не доверяют.

Раненые и больные солдаты, побывавшие на фронте, пользуются особыми привилегиями. Они становятся во главе движения петроградского гарнизона.

Дежурный офицер ежедневно чуть не плачет, собирая наряд: никто не желает итти в караул.

— Будя, походили! — говорят солдаты. — Теперь не старый режим.

— Чего охранять, теперя свобода.

— Теперь народ сознательный, никаких постов не надо.

Старики из бывших фронтовиков говорят:

— Пущай молодняк в караулы ходит. Нам и отдохнуть пора. Мы кровь проливали.

*

В казармах каждый вечер танцы.

Никто их не афиширует, но к восьми часам — начало с'езда — в огромном зале третьего взвода уже разгуливают десятки девиц.

Танцуют все, начиная от кадрили и кончая танго.

Полковые музыканты с восьми вечера и до двух ночи тромбонят в свои желтые трубы, обливаясь потом и проклиная «свободу».

Пробовали отказаться играть — их чуть не избили.

— Для офицерей раньше играли, а для нас не хотите?! — кричали заправилы танцев, окружив старого капельмейстера.

— Морды побьем и на фронт всех вас в двадцать четыре часа!

— Народу служить не хотите?!

Музыканты сдались и тромбонят до изнеможения.

•

Ночью, возвращаясь в свой взвод, натолкнулся во дворе на большой стол у продуктового склада, на котором днем режут капусту.

В синем сумраке насупившихся теней у стола копошатся какие-то фигуры; несколько человек стоят поодаль.

Не понимая ничего, спрашиваю:

— Что тут такое, товарищи?

Сиплым баритоном кто-то промычал из темноты:

— Ничего! Становись в очередь, если хочешь...

— Шестым будешь... — хихикает другой.

В третьем взводе еще танцуют. Слышны звуки задрипанного вальса.

Поднимаясь по лестнице, я спрашиваю себя:

«Почему же не кричит и не зовет никого на помощь эта женщина, распятая на капустном столе?»

Ответа найти не могу.

На фронте я видел это много раз.

Насилие женщин. Очереди на женщину — всё это с войной вошло в быт.

Но ведь здесь не фронт.

Значит, затопляет всю страну и сюда ползет *это* с окровавленных галицийских полей, несчастных Карпат, с польских и австрийских местечек, непоправимо искалеченных, растоптанных железною пятой десятимиллионных орд дикарей, ощетинившихся штыками...

*

Романовская Россия рухнула.

Вышли из подполья политичские партии.

Политика сегодня стала такой же потребностью, как еда.

На заборах ежедневно пестрят кричащие афиши, приглашающие на митинги, диспуты, лекции.

«Работают» кадеты, прибирая к рукам власть, ведут агитацию народные социалисты, радикалы, либералы, народные демократы, социалисты-революционеры, социал-демократы-меньшевики, анархисты-максималисты, анархисты-террористы, анархисты-индивидуалисты, анархисты-синдикалисты, крестьянский союз, земский союз, кооперативный союз, баптисты, евангелисты, христианские демократы, старообрядцы...

Могучей рукой толкают массы на восстание против капитала большевики.

Все писатели и журналисты стали политиками.

Оказывается, все влюблены в революцию.

Все давным давно ненавидят царизм и желали его погибели.

Одни кричат об углублении революции, другие — о торможении ее, третьи — о том и другом сразу.

Об'ясняются в любви революции и вчерашние поставщики, наживающие миллионы на войне. Они надеются,

что «революционное» правительство поведет более интенсивную войну и даст им возможность заработать больше, чем при царе.

Каждая партия распространяет свои программы, тезисы, резолюции, выдвигает на всяких выборах своих кандидатов и старается опорочить кандидатов всех других партий.

Появилось множество «старых» революционеров. Всякий газетчик, продавший когда-то несколько номеров нелегальных газет, считает себя революционером с подпольным стажем.

Всякий зубной врач, пломбировавший какому-нибудь революционеру зубы, считает себя подпольщиком.

И меньше всего кричат о революции, о своей преданности ей те, которые совершили февральский переворот: солдаты и рабочие.

Они вышли на улицу свергать старый режим с деловитостью и серьезностью мужика, выходящего в ведреный день на покос.

Многие партии громко кричат о своей любви к революции потому, что боятся ее.

В их хвалебных гимнах слышится трусливое:

«Чур меня! Чур меня! Чур!..»

*

Знаменательный день.

Выбирали офицеров. Не знаю, кто инициатор этого приказа.

С сегодняшнего дня армии, как боевой единицы, нет. Я лично чрезвычайно рад. Только я удивляюсь разуму теперешних правителей.

Часть кадрового гвардейского офицерства совсем не показывается в казармы и занимает выжидательную позицию, втайне мечтая о восстановлении монархии.

Часть сочувствует революции и искренне, но робко пытается сблизиться с солдатской массой.

Часть карьеристов и интриганов подленько заискивает перед солдатскими «вождями».

Нужно было выбрать командиров из второй группы, но, к сожалению, в большинстве пролезли представители третьей.

Унтера, фельдфебели и подпрапорщики вели широкую предвыборную кампанию.

Они ловко заговаривали солдатам зубы, сразу превратились в либералов, ругали мастерски старые порядки, откровенно предлагали свои кандидатуры на командные должности.

И солдаты забыли все зуботычины, полученные от взводных и фельдфебелей «при старых порядках», забыли потогонный гусиный шаг.

Вернее, не забыли, а сделали вид, что забыли — еще вспомнят.

Выбрали многих из низшего командного состава.

Постановили: от имени всего полка ходатайствовать о производстве в прапорщики тех унтер-офицеров, фельдфебелей и подпрапорщиков, которые выбраны на должности ротных и полуротных командиров.

*

Просмотрев утренние газеты, отправляюсь в город и брожу до вечера. Так ежедневно.

Эпоха митингов.

В Таврическом и Ботаническом садах, во всех скверах, у каждой трамвайной остановки митинги.

Выступает всякий, кто может. Какой-нибудь человек, набравшись духу, залезает на мусорный ящик, на фонарный столб и кричит:

— Товарищи!!.

Оратора окружает толпа и, грызя семечки, терпеливо слушает до тех пор, пока он не изойдет потом, не израсходует всего запаса своих слов.

Уставшего оратора сменяет другой, третий...

Импровизированные митинги собирают по несколько тысяч слушателей. Это понятно.

Митинги вступают в новую фазу.

Тревогой и страстью наливаются речи ораторов.

От общих суждений переходят к конкретным предложениям.

Камень преткновения всех партий — война.

Монархисты и черносотенцы, кадеты с «подпольным стажем», эс-эры и меньшевики провозглашают:

— Война до победного конца!

Буржуазная публика этот лозунг одобряет.

Солдаты, особенно побывавшие на фронте, ругаются:

— Сами поезжайте на фронт!

— Не желаем воевать!

Солдаты симпатизируют большевикам.

Людям в измызганных шинелях самый близкий лозунг — четкий лозунг большевиков:

«Мир без аннекций и контрибуций на основе самоопределения народностей».

Солдаты все знают, что большевистский лозунг о войне означает немедленное прекращение войны. Популярность большевиков неуклонно возрастает. В предстоящих выборах в учредительное собрание пятнадцатимиллионная армия, вероятно, опустит шары в большевистскую урну. И если в учредительном собрании большевики окажутся в меньшинстве, армия поднимет на штык этого «хозяина» земли русской.

Недавно в Ботаническом саду митинг закончился дракой. Солдаты свистят, улюлюкают ораторам, призывающим воевать «до победы».

Сторонники войны и офицеры, переодетые в штатское, травят солдат.

— Семечками торгуете!

— Папиросками спекулируете!

— Без поясов по городу ходите!

— Хлеб казенный жрать мастера, обмундирование требуете, а воевать за вас Александр Сергеевич Пушкин должен?!

— Изменники!

— Свободу продаете!

— Не свободу им, а кнут хороший надо!

Солдаты, не искушенные в логике и диалектике, отвечают ядреным окопным матом.

Кавалерийский офицер-неврастеник вчера ударил солдата-гвардейца ладонью по щеке.

Началась баталия.

Солдатам на помощь прибежали рабочие близлежащих заводов.

Офицеров, буржуев, сторонников войны изрядно помяли и выгнали из сада.

Через полчаса митинг открылся снова. Ораторы провозглашали:

— Долой войну!

Слушатели горячо аплодировали и кричали:

— Правильно!

— Согласны!

*

Жаркий полдень.

Митинг в саперном батальоне.

На открытом воздухе в обширном дворе распластались живописные группы разомлевших от зноя солдат.

В центре двора маленький столик под красной скатертью. На столике графин с водой, колокольчик — бутафория и реквизит митинга.

Тут же примостилась сбоку опрокинутая вверх дном бочка из-под сельдей. Это — трибуна.

Ораторы все — «социалисты», но «разных толков»: народные социалисты, меньшевики и социалисты-революционеры.

Все на войну напирают: «Нужно разбить Германию».

Настроение солдат-сапер колеблющееся.

Наговорились.

Меньшевики предлагают на голосование свою резолюцию, эс-эры и эн-эсы — свою.

Потом меньшевики и эс-эры об'единили свои резолюции в одну, «чтобы не разбить голосов».

Резолюция, вероятно, прошла бы.

Но из толпы слушателей к ораторской бочке напористо продирается широкоплечий степенный бородач-сапер. Просит слово «по поводу резолюций».

Командир батальона шопотом совещается с ораторами.

Бородача уже заметили солдаты. Со всех уголков двора ему приветливо улыбаются и кричат:

— Степаныч, не подгадь!

— Дать высказать свою мнению Степанычу!

Бородач получает слово и лезет на бочку.

Тишина. Солдаты вытягивают нетерпеливо шеи.

— Свой. Что-то скажет? Вдруг обремизится?

Окающим поволжским говорком размашисто и уверенно начинает он речь:

— Товарищи! Нам вот просветители наши и учители предлагают резолюцию по военному и политическому вопросам принять. Что же! Мы не прочь от этого. Резолюции — дело хорошее. Только как же мы будем принимать эту резолюцию, когда от большевистской партии оратора не было и резолюции нет.

Энти резолюции хороши, а може, большевицкая еще лучше? Може, она нам в самый раз будет? Тады как?

— Большевики были приглашены на митинг, — громко кричит председательствующий за столиком офицер. — Сами не захотели притти. Не хотят, значит...

— У большевиков кишка тонка, — острит какой-то задира, невидимый в толпе.

Толпа густо шипит в знак протеста.

Бородач машет рукой, призывая к порядку. Любовно оглаживает широкую, распустившуюся под ветром бороду.

— Помолчите, товарищи, одну минуточку. Сейчас я кончу. Большевики были приглашены — это справедливо. Но почему не явились?

Он делает паузу, как бы ожидая ответа со стороны аудитории. Застыл в любопытстве устланный телами солдатскими двор.

Обведя всех глазами, громко и отчетливо говорит бородач.

— Большевики не могли притти потому, что они члены рабочей партии. Почти все они днем заняты на работе. Вечером будет у нас представитель большевистского комитета, сделает нам свое раз'яснение. Тогда и резолюции принимать будем.

Разрядилось напряжение. Тяжело дышат распаренные тела.

— Правильна! — гудит по рядам.

— С ентова и начинать надо было!

Бурным всплеском сочувственных аплодисментов солдетская масса снимает с трибуны своего оратора, и когда он проходит по рядам, вслед ему летят десятки теплых, ласковых слов.

За об'единенную резолюцию меньшевиков и эс-эров поднимается несколько рук. Против — три тысячи.

*

Призваны в армию все бывшие городовые, жандармы. В наш батальон две сотни их влили. На дворе с ними ежедневно занимаются шагистикой, ружейными приемами.

Пузатые, краснокожие, раскормленные, точно быки, с чудовищными усами, они так мало похожи на солдат военного времени.

Широкие, выпуклые, как натянутый барабан, груди обильно украшены стертыми, вылинялыми медалями.

Солдаты относятся к ним враждебно. Встречают и провожают колкими замечаниями.

Эти настроения передались и унтерам, ведающим «переподготовкой» городовых.

Унтера гоняют их по двору точно новобранцев: «Мы вам спустим жир-то».

Когда городовые протестуют против муштры, унтера, выкатив глаза, орут:

— Ага, вам новая власть не хороша?

— Царя надо?! У, гниды!

— Фараоны!

Городовые робко втягивают бритые головы в плечи и опускают виновато глаза.

А унтера продолжают:

— На фронт ехать — чести для вас много! На фонарных столбах ваше место, вон где! Кровь пили народную!

*

На Марсовом поле ежедневно маршируют женские ударные батальоны, организованные женщиной-прапорщиком Бочкаревой.

Сама Бочкарева становится популярной, как Кузьма Крючков. Ее портреты — тупое квадратное лицо гермафродита с толстыми губами — вывешиваются в штабах, в казармах...

Бочкаревские ударницы одеты в обыкновенные солдатские штаны и гимнастерки. На ногах — грубые мужские сапоги.

Эмансипация полная.

Мужская военная форма, плотно облегающая тело, делает их комично-уродливыми.

На обучение ударниц обыватели специально ходят смотреть, точно в цирк. Одни одобряют, другие ругают.

Буржуи, показывая солдатам на марширующих женщин, говорят: «Смотрите и стыдитесь. Женщины хотят воевать, а вы, мужчины, трусите. Довели родину! Свободу завоевали! Женщины вынуждены сами браться за оружие! Эх вы, мужчины!

Солдаты петроградского гарнизона возненавидели «бочкаревскую гвардию» непримиримой ненавистью и оскорбляют на каждом шагу:

— Проститутки! Потаскушки!..

— Чорт вас сует не в свое дело!

*

На каждом шагу споры: быть или не быть войне. Число противников войны заметно растет во всех слоях населения. Даже многие поэты зачирикали по-иному.

*

Удушливый воскресный полдень.

Любовно ощупывает и разглаживает морщины старушки-земли огнедышащее летнее солнце.

Зашла Лена.

Потащились пешком на Острова.

Забрели по пути в Ботанический сад.

Худосочный кривоногий солдатик с лицом хулигана и скандалиста в высоких желтых сапогах со шпорами, сопутствуемый толпой подростков, срывал у кустов и деревьев дощечки с латинскими обозначениями.

Старик в рыжем котелке, напоминающий «человека из ресторана», пытался его урезонивать.

Мы сели в лодку и скользим по заливу.

Над головами качается ослепительный яркий шар солнца, щедро разливая тепло и радость. Море, опьяненное солнцем, спокойно дремлет. Широкой сверкающей полосой оно убегает в призрачную даль.

Берег остается все дальше и дальше.

Я складываю весла к бортам и пересаживаюсь на скамейку, к Лене.

В теле сладкая усталость. Хочется молча ехать без конца.

Но Лена настроена иначе. Она все еще под впечатлением виденных в Ботаническом саду картин.

Она с типичной женской нелогичностью бранит «демократию», которая не умеет себя вести в общественных местах.

— Ты только подумай, — горячо апеллирует она ко мне. — Ботанический сад — этот цветущий, восхитительный уголок природы — обратили в свиной хлев, в свалку нечистот, в пустырь, на котором играют в городки...

— Лена, не кипятись! — говорю я шутя. — Ты не права...

— Как не права? Ты знаешь, Валерий, я не мещанка, не реакционерка, я на-днях даже вступаю в партию социалистов-революционеров, я приветствую освобождение народа и готова отдать себя на служение ему, но этот вандализм я никому простить не могу. Это ужасно дико!..

Я стараюсь говорить как можно спокойнее, хотя меня раздражает эта явно контрреволюционная философия.

— Лена! Нужно понять психологию солдата. Нельзя обвинять огульно. Я понимаю его. Твой прокурорский тон, милая, вовсе неуместен. Руководители революции и

пролетариата ценности в помойку не выкинут. Придет время, и сад уберут, вывески разрушенные поправят. Сейчас бушует стихия, вышедшая из берегов. Не до ботаники.

Лена обзывает меня дикарем.

Долго сидим молча. Я снова сажусь на весла.

*

В Таврическом саду в нескольких шагах от дворца в кругу огромной толпы «артистического» вида босяк залихватски бренчит на балалайке и поет.

Про бывший царствующий дом отхватывает такие куплеты, что у женщин уши вянут.

Картинно изогнув фигуру, выпятив открытую, бронзовую от загара грудь, ворочая желтыми белками глаз, босяк резко-крикливым тенорком выводит:

Как у нашего царишки
Очень маленький умишко.
А наша матушка-царица —
Точно с Невского девица...

Вслед за куплетами, дергаясь и вихляясь всем телом, он шумно бьет по струнам частым перебором и странно измененным, музыкально звенящим тембром выдыхает из гортани слова припева:

Ай да царь! Ай да царь!
Кровопивец государь!
Ай да царь! Ай да царь!
Кровопивец государь!..

Дальше, конечно, про царских дочерей, про Анну Вырубову, про Гришку Распутина.

Солдаты бросают в шапку «артиста» мелочь, добродушно посмеиваются.

Вслух поощряют:

— Так их, братишка!..

— Катай, катай их, не стесняйся. Теперь и про царя можно — слобода.

Женщины при особенно сальных куплтеах стыдливо прикрывают лица прозрачно-газовыми шарфиками.

Мещаночки и старухи-няни испуганно качают головами и вздыхают:

— Господи милосливый! До чего дожили. Про самое царицу таки непристойности поют.

— Последни времена, видно, настали, о-хо-хо-хо.

— Угодники святые, молите всевышнего за нас, окаянных...

— А ну-ка спой ище, паренек, по пятачку дадим.

*

Ехал на Выборгскую сторону.

Трамвай вдруг уперся в стену демонстрантов и остановился.

Стройные колонны пулеметчиков, измайловцев, гренадер, рабочих.

Музыка гремит марсельезой. Задние колонны поют «Варшавянку». Выскакиваю на мостовую.

— Куда, товарищи, идете?

— Смотри на плакаты. Не видишь?

Смущен. Не сообразил. Смотрю.

«Вся власть советам!»

«Долой министров-капиталистов!»

«Долой войну!»

Выбираюсь из затора человеческих тел, сажусь на извозчика, трясусь в свой полк.

На дворе казарм уже строятся колонны, чтобы итти демонстрировать.

Со склада выкатывают покрытые пылью пулеметы. Тащат цинки с патронами, пулеметные ленты.

Кто позвал на демонстрацию, неизвестно.

Плана демонстрации нет. Руководства нет. Но все, как один, рвутся на улицу.

Офицеры попрятались. Исчезли с горизонта и новоиспеченные прапорщики из фельдфебелей.

Часовой оружейного склада не хотел никого подпускать к замку, упирая на устав гарнизонной службы.

К часовому подбегает растрепанный солдат без фуражки, без пояса. Задорно командует:

— Именем революционного народа приказываю тебе: отойди прочь!..

Часовой неуверенно отвел в сторону штык.

— Бей замок, товарищи! Рви печать! Бери оружие— все наше!

Десятки человек бросились внутрь склада за оружием и патронами. В кого стрелять? Придется ли действовать оружием? Никто не знает. Вооружаются на всякий случай. Преображенцы отказались демонстрировать. Прислали делегацию уговаривать нас остаться в рамках «благоразумия».

Наши делегаты встретили их враждебно. Обругали «холопами». Пригрозили обстрелять казармы преображенцев, если они не выйдут на демонстрацию.

Выбрали из своей среды командиров. Разбились на отделения, на звенья.

Медь оркестра сверкнула на солнце и дрогнула мощным напевом марсельезы.

Под музыку, четко отбивая тяжелыми сапогами такт, по серому, покрытому рыхлой пылью булыжнику мостовой выходим за ворота.

— Правое плечо вперед! А-а-аарш!

Испепеляющий и бодрящий зной стоял над городом. Прокаленный июльским солнцем воздух казался осязаемым, густым и тяжелым.

На Литейном бурное человеческое море катило с величавой медлительностью бесконечные пестрые волны.

Как на параде, строго сохраняя равнение, сомкнутыми колоннами идут пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы, саперы, пулеметчики, самокатчики, связисты, матросы. Вперемежку с войсками шагают рабочие и работницы.

Влились и растворились в могучем потоке пропотевших и пыльных тел, пурпурно - красных знамен, оркестров, лошадей, моторов...

На остановках хватали своих командиров, членов ротных комитетов, и качали их, подбрасывая на уровень шелестящих красным шелком знамен.

До хрипоты пели марсельезу. Хочется новых, поднимающих и бодрящих песен, отражающих великие, неповторимые сдвиги души, песен, написанных в вихре восстаний, под звуки залпов, возвещающих о победе.

*

Летняя белая, унизанная прозрачными туманами петербургская ночь нависла над прямыми линиями гудящих железом, камнем и топотом улиц.

Демонстранты расползлись, рассеялись по всем направлениям. Растаяли в качающейся тени скверов, садов, бульваров, площадей. Отдыхают, чтобы с выходом солнца снова развернуть алый шелест знамен, начать свое победное шествие по улицам насторожившегося в смутной тревоге города.

Чтобы, протестуя против войны, еще раз прокричать на весь мир о своей проснувшейся огромной силе и энергии в разрушении старого и создании нового порядка вещей.

Чтобы снова, построившись в серые квадраты плотно жмущихся друг к другу тел, переполнить дотказа бетонные коридоры проспектов, улиц, переулков, тупиков, взбудоражить и залить город пенистым, сердито урчащим потоком человеческой лавины.

Чтобы снова четким выкриком песен, звоном сотен оркестров, оглушающим гулом барабанов повергнуть в озноб, жуть, ужас и немую оторопь нахально и трусливо сверкающие платиной, жемчугом, изумрудами, брильянтами зеркала витрин.

Чтобы снова заставить замолчать скрипки и виолончели кафе, баров, шантанов, ресторанов, театров, кино и залитых матовыми огнями зал.

Чтобы снова сказать сотнями тысяч огрубевших, голодных, сведенных отчаянием глоток властное:

— Довольно!!!

*

Таврический сад — цыганский табор. Во всех аллеях расположились живописно пестрые группы солдат, рабочих и женщин. Братание полное. Серые гвардейские ши-

нели обнимаются с засаленными кожанками выборгских слесарей, с яркими фуфайками текстильщиков. Запахи прелых шинелей, овчин, прогорклого человеческого пота струятся в охлажденном воздухе.

Горят костры по всему саду и на прилегающих к нему улицах.

У парадного под'езда дворца пылает громадная охапка березовых дров, переложенная сухими досками и сеном.

Веселые пляшущие языки пламени лижут прозрачную пелену тумана, спиралями идущего с моря, от Невы.

У костров греются. Кипятят чай. Прикатили походные кухни. Варят ужин.

В коленкоровой пасмури ночи, дрожащей в озареньи шипучих костров, льются задушевные речи рабочих и солдат.

Таврический дворец в крепком кольце многотысячной возбужденной массы. Он точно средневековый замок, осажденный врагами.

Через каждые полчаса к парадному подходят все новые и новые колонны. Настойчиво вызывают засевших там министров «держать речи».

Министры выходят испуганные, жалкие, с меловыми лицами, точно конокрады, пойманные мужиками. Пытаются уговаривать. Просят разойтись по домам. Дают обещания. Но не верят больше министрам...

Какого-то министра чуть не избили. За него вступился известный большевик Каменев. Выручил.

Власти в Петрограде нет.

Что-то скажет завтра петроградский совет? От него все зависит.

*

Чудеса в совете! Петросовет большинством голосов принял резолюцию с отказом от власти...

Весь гарнизон, все рабочее население единодушно кричит тысячами своих знамен:

— Вся власть советам!..

А совет, возглавляемый эсэровскими и меньшевистскими мямлями, говорит:

— Я не хочу власти!..

Избиратели приказывают, а избранные плюют в лицо своим избирателям и называют их немецкими шпионами.

Встретил знакомого сапера-бородача. Он ругает меньшевиков и эсэров.

— Вот, жулики! Не берут ведь власть-то, а?? И что нам с ними делать теперь, с предателями?!

— Нужно разойтись по домам и немедленно организовать перевыборы совета, — подсказывает бобриковая фуражка.

— А как ты их, паршивцев, переизбирать станешь, ежели у них мандатам срок не вышел? — спросил какой-то законник.

На законника набросилось сразу несколько человек.

— К чорту сроки! Революция теперь али нет?

— Долой их, подхалимов!

— Продают нашего брата!

— Снюхались с буржуями...

— Переизбирать надо!..

— Большевиков, чтобы всех до одного ввести!

*

Несколько часов под ряд к Таврическому дворцу идет волна ратников последнего призыва.

Говорят: их сорок пять тысяч.

Мобилизовали накануне Февральской революции. Загнали в грязные казармы около Николаевского вокзала и... забыли о них в сутолоке событий.

Им не давали ни обуви, ни белья, не обучали на строевых занятиях. И эти сорок с лишним тысяч пожилых, обремененных семьями мужиков в самые горячие месяцы деревенской работы сидели, ничего не делая, в казармах на голодном пайке.

Сидели и гадали на пальцах. Распевали свои унылые мужицкие проголосные песни.

Теперь они вышли на улицу и тяжелой поступью, подпоясанные веревками, поясами, в холщевых рубахах, в рваных бахилах, в распустивших усы лаптях, с налитыми кровью глазами, как зубры, встревоженные волчьей стаей, идут демонстрировать против временного правительства.

На казенных фуражках ярко отсвечивают приплюснутые кокарды. И только по кокардам видно, что это солдаты.

В лице этих грязных ратников с всклокоченными бородами и волосами идет протестовать против войны и империалистической политики Керенского вся необ'ятная мужицкая Россия.

Земляная стихия требует мира и земли. Корявые буквы плакатов грозно и властно кричат:

— Долой войну! Довольно крови! Довольно жертв! Это наша воля. Горе тому, кто будет ее игнорировать!

Старенький отставной генерал, оглядывая полчища ратников, их наскоро сшитые красные знамена с неуклюжими безграмотными надписями, испуганно бормочет:

— Господи Иисусе! И откуда их прет столько?.. Что за войско? Что за войско? Это — не армия... а разбойника Чуркина шайка какая-то! Господи, до чего довели Россию нынешние правители!..

К генералу подходит коренастый белобрысый солдатик с винтовкой на ремне, увешанный патронами. И, стянув в злобной усмешке толстые красные губы, не своим голосом кричит:

— Замолчь, старый хрен! Как ты смеешь против революции агитацию пущать?? Кто такой? Хошь, я тебя сейчас в Петропавловку представлю? Ты у мене поговори, паршивец!

Генерал, нахлобучив на глаза потертую фуражку, испуганно юркнул в толпу.

А солдатик медленно двинулся по тротуару, чутко прислушиваясь к разговорам публики.

*

Это произошло на углу Литейного проспекта и Шпалерной. Надвигался вечер. Главные силы демонстрантов прошли и находились в районе Невского. Многие колонны расходились по домам.

Со стороны Таврического по Шпалерной мирно двигается с песнями, с музыкой радостно возбужденная пестрая толпа. Идет пулеметный полк вперемежку с женщинами-работницами табачных фабрик.

Навстречу, тяжело громыхая по камням мостовой, сотрясая грунт, точно стайка огромных черепах, катится батарея. У артиллеристов ни лозунгов, ни красных знамен. Жутко и молчаливо глядят на праздничную шумящую улицу черные пасти орудий.

Батарею прикрывает лихая казачья сотня.

Первая боевая единица верных временному правительству войск явилась из Ораниенбаума «наводить в мятежном Петрограде порядок».

Демонстранты приняли ораниенбаумцев за своих, подпустили на сто шагов.

— Разойдись по домам! — резко кричит безусый сотник, приподнимаясь в жолтеньком казацком седле. — Именем временного правительства... Приказываю...

Музыка оборвалась. Но расходиться никто не думает.

Да и куда расходиться? Узкий канал. Кругом камень, бетон. Нужно: или прорваться вперед, опрокинуть казачью сотню, прикрывающую батарею, или бежать назад... Толпа демонстрантов заколебалась в нерешительности. Вожаки совещаются.

Сотник подает команду. Сверкнула в воздухе сталь клинков, приготовленных к рубке человеческого тела.

Сотник шпорит танцующего под ним рыжего жеребца и опять, приподнимаясь на стременах во весь рост, властно кричит:

— В атаку! Марш, марш!

Сотня на маленьких крепких лошадках вылетела вперед батареи. Пригнувшись к седлам, казаки с гиканьем понеслись навстречу демонстрантам.

Артиллеристы завозились около пушек.

Расстояние коротко.

Секунда, другая, и бьющие без промаха, поражающие на-смерть казачьи шашки обагрятся кровью... Погаснет веселый смех, улыбки скорчатся в последней гримасе безвольно замирающих тел. И остановятся навсегда скованные ужасом зрачки.

Людское стадо испуганно шарахнулось к панелям.

На середине улицы остался невидимый дотоле защитного цвета грузовик. Пыхтя и чуфыркая, неуклюже повернулся он туловищем поперек улицы, смертным огнем двух пулеметов, стоящих на левом борту кузова, харкнул в лицо подскакавших вплотную казаков...

Кажется, опоздай пулеметчики на одну секунду, было бы поздно.

Лошади приняли на себя первые горсти свинцовых орехов. В предсмертном храпе, в судорогах падают у самых колес грузовика на обожженный солнцем камень, заливая его кровью, калом, высыпавшейся из разорванных ран на животе требухой.

На убитых лошадей падают здоровые, давя людей, калечат груди, ломают ноги.

Молодой сотник, взмахнув в последний раз уже мертвыми руками, мешком падает с лошади. Выпущенный из руки клинок звенит в серой пыли мостовой.

Рыжий жеребец, потеряв седока, косит глазом, поводит тяжело крутыми боками, испуганно храпит, мечется в тесном кругу огня и людей.

Орудийная прислуга, спрыгнув с передков, врассыпную бежит к под'ездам, в открытые подворотни. Лохматые першероны, запряженные в пушки, потеряв ездовых, повернули к панелям.

Пушки опрокидываются в канаву, испуганные лошади бьются в тревоге, рвут постромки.

Сотня круто повернула на Литейный. Пригнувшись к косматым гривам донцов, бешеным аллюром, с гиканьем, с воем понеслись казаки в направлении к Невскому.

Летели, точно в атаку на незримого врага, который где-то далеко-далеко. Не отдавая отчета, скакали вперед. Убегали от нависшей смерти, дыхание которой жгло бритые затылки.

Подковы лошадей, звонко цокая, выбивали клубы пыли на паркетно-торцовой мостовой опустевшего в одну минуту проспекта.

Но некоторым суждено было умереть на Литейном в этот ясный июльский полдень.

От Шпалерной до Невского далеко. Нет на прямой магистрали Литейного проспекта спасения от змеиного жала пуль. Сразбега раскаряками падали дюжие крепконогие лошади, падали, чтобы вытянуться, дрыгнуть ногой, умереть...

Скачущий по прямой линии всадник — слишком хорошая мишень для пулеметчика.

Казаки под прямым углом повернули с Литейного на Жуковскую. И на крутом повороте еще упали четыре лошади; четыре чубатых всадника влипли в блестящую, как паркет, поверхность мостовой...

Потеряв добрую половину состава, сотня ушла от смерти...

Только один вороной жеребец, раздувая кроваво-красные ноздри и фыркая, несется прямо по Литейному на Невский.

Раненый казак свалился с седла. Нога-предательница завязла в стремени. Жеребец тащит всадника по мостовой. Голова казака, вышелушенная от мозгов, прыгает, как футбольный мяч. Седло сбилось на бок.

Когда затарахтел на грузовике пулемет, обыватели, вооруженные лорнетками, театральными биноклями, зонтиками, беспечно глядевшие с панелей на «развертывающиеся события», ринулись в ворота и под'езды своих и чужих домов. События приняли не совсем приличный оборот. Созерцать становилось опасно.

Дворники, тоже созерцавшие «события», согласно инструкции домовладельцев, захлопывают калитки перед носом перепуганных людей, во двор «не пущают».

Давка у под'ездов, у ворот. Женщины-истерички падают в обморок.

Пулеметы рокочут на самом Литейном. Им вторит беспорядочная ружейная и револьверная пальба.

Об'ятые смертным страхом, люди липнут в канавы, пиявками присасываются к тумбам, к столбам, к ступеням крыльца.

Выдавливают стекла подвальных этажей, мешками скатываются в чужие квартиры, дико вопя, как в час небывалого землетрясения.

Давят, калечат друг друга. Режутся в переплетах рам оконным стеклом. Застревают в прорезах окон, кусают друг друга, тузят в бессильной ярости кулаками.

Демонстранты вели себя с поразительным хладнокровием, с выдержкой. Паника была и у них, но они быстро взяли себя в руки, преодолели ее.

*

Демонстрация сегодня пошла на убыль. Люди устали. Надоело без толку бродить по улицам. Расходятся по фабрикам, по казармам, унося в бунтующих душах накипь негодования против колеблющегося, соглашатель-

ского большинства совета рабочих и солдатских депутатов.

Трупы казаков убраны, но убитые лошади еще лежат. Лежат со страшно вздувшимися животами, вытянув шеи и оскалив широкие желтые зубы. Под ними лужи бурой засохшей крови.

Разит кислой падалью. Пешеходы, проходя мимо, затыкают носы платками и негодуют на власть, которая четыре дня не очищает улицы.

Они — чудаки, эти прохожие: никак не могут понять, что власти почти нет. Никто, от милиционера до премьера, не чувствует под ногами земли.

До лошадей ли тут?

Темные личности сеют тревожные слухи. Призывают к погромам. Одного агитатора, призывающего к погрому винных складов, солдаты отдубасили прикладами.

Говорят, что в Петроград для «усмирения бунта» едут с фронта полки.

Обыватели ожидают резни, грабежа.

Но так или иначе — петросовет кончил свое существование. Армия — единственная сила, на которой держится власть. Петроградский гарнизон занес свой штык над советом нынешнего состава. Если перевыборы не удовлетворят, штык опустится и сделает свое дело.

*

Правительство обвиняет большевиков в организации демонстрации 3—4 июля.

Часть лидеров арестована. Ленин скрылся. Может быть, его схватят сегодня—завтра. Говорят, есть приказ о его аресте. Его усиленно разыскивают.

Правая печать прямо зовет к самосудам над большевиками.

Журналисты, от Суворина до Д. Заславского включительно, с пеной у рта вопят о пломбированном вагоне, о грудах немецкого золота.

Ленина готовятся казнить, расстрелять.

Если сегодня схватят и растерзают Ленина, этим ничего не докажут.

Его идею убить нельзя.

Несокрушимая сила Ленина в том, что он предвидит ход истории. И потому его дело победит.

*

Приехал с фронта кавалерийский полк. Кавалеристам внушили, что на их долю выпала великая честь очистить Петроград от мятежников, которые якобы бунтуют лишь потому, что боятся воевать, «дрожат за свою шкуру».

Кавалеристы ходят павлинами, держат себя вызывающе. Гвардейцев называют шкурниками.

Наши солдаты уже имели с ними в Таврическом несколько мелких стычек.

Горячие головы предлагают атаковать кавалерийские казармы, обезоружить и выставить «спасателей» временного правительства из Петрограда.

На дворе очередной митинг.

Грузный скуластый солдат, стоя на бочке, громит кавалеристов. Повернувшись к публике задом, упрямо спрашивает председателя:

— Были мы с тобой на фронте?

— Ну, были, — нерешительно говорит председатель.

— Были мы ранены?

— Были, — подтверждает председатель.

— Ну, а вот наши товарищи, собравшиеся здесь на митинге? Они были ранены?

Председатель недоуменно трет широкий свой лоб.

— Да, к чему ты это пристаешь? Все знают, что были. Есть по три—четыре раза раненые. В чем дело? По существу говори. Ближе к делу. Текучий момент у нас в порядке.

Оратор удовлетворенно трясет головой. Повернувшись лицом к слушателям, он снова возбужденно говорит, отчаянно болтая длинными руками:

— Мы — фронтовики, товарищи. Так как они, эти красноштанники, могут нас «тыловиками» обзывать? Наехали сюда сытые, краснорожие, гладкие, как борова; сами ни в одном бою не бывали, за сто верст от позиции баб щупали, а теперя нос задирают.

В толпе движение.

— Знамо дело! Правду сказал! Подтвердим! Видали мы кавалерию в бою...

Председатель звякнул колокольчиком.

— Не прерывать оратора, товарищи.

Оратор, точно боясь, что не дадут ему кончить речь, нетерпеливо переступает на бочке ногами.

— Так-то, товарищи. А теперьча нам здесь проходу не дают. Мы трусы, мы шпионы немецкие, мы семечками торгуем. Долго ли будем терпеть, товарищи, такое измывательство? Предлагаю революционным порядком разоружить кавалеристов... А не дадутся — побить всех в лоск. Каки мы шпиены? Какой я, например, шпиен? Кто из нас золото немецкое нюхал? Без табаку, без сахару сидим, животы с голодухи подвело, а тут, накося,

золотом попрекают. Доколь поклепы сносить станем? Довольно! Прекратить пора!

— Правильна!

— Согласны!

— Правильна-а-а-аа! Даешь!..

Долго кричали, заглушая маленький колокольчик председателя.

Шмелями гудел оскорбленный полк.

Слово взял себе председатель.

Заговорил деловито, без пафоса.

— Погоди, ребята, не торопись. Не с того конца начинать хотите. Кавалеристов зря на нас науськали. Головы обморочили им. Они, дураки, под чужую дудку пляшут. Будет время, и их обработаем. Все равно верх наш будет. Пусть сюда хоть весь фронт гонят. Не страшно! Мы их словами доймем. Слово — ежели оно справедливо — хуже пулемета. Против слова никто не устоит. Правда на нашей стороне. По душам надо беседовать с ними... А уж ежели не проймем словами, не опомнятся —пусть не серчают. Стрелять умеем. Пулеметов хватит. Не такую кавалерию видали... В порошок сотрем, не посмотрим, что свои.

С председателем большинство согласилось.

*

— Это футуризм! Это футуризм!

Женщины и мужчины обступили мрачного брюнета и, перебивая друг друга, размахивая у него под носом кулаками, что-то горячо доказывают ему.

Духовенство развернуло кампанию против революции и против пораженческих настроений.

Повидимому, отцы духовные располагают солидными средствами. Чуть ли не каждый день из синодальной типографии к нам в казармы присылают тюки литературы.

Все эти поповские брошюры и листовки написаны популярно, увлекательно. Понятны каждому солдату. На тысячи ладов доказывается, что нужно воевать с немцами, с австрийцами и турками до победного конца. Тем солдатам, которые отказываются воевать, отцы духовные угрожают всеми муками ада. В доказательство своей правоты приводят десятки имен пророков, святых угодников, богословов.

Брошюрки свои они раздают бесплатно. Против революции выступают пока осторожно, ругают только большевиков, да и то иносказательно.

Но и в этом вынужденном косноязычии ясно проскальзывает глубокая ненависть духовенства к социализму вообще.

Жандармы в рясах проглотили бы с удовольствием всех социалистов и всех революционеров.

Правых социалистов попы терпят, как неизбежное зло. Они очень хорошо знают поговорку древних греков: «Когда не спасает тигровая шкура — одевай лисью».

Во всей казарме не найдешь ни одной социалистической книжонки, а поповская литература валяется по всем углам.

Мне кажется, что все синодские послания к пастве и к «христолюбивому православному воинству» являются вечерним изданием кадетских газет. Кадеты, перепуганные революцией, правеют не по дням, а по часам. Милю-

ков скоро будет правее Николая Романова, а Милюкова считают самым левым из кадетского лагеря.

Если с поповских брошюрок смахнуть божественный туман, елейную иносказательность эзоповского подчас языка, их не отличишь от набоковских и милюковских «произведений» подобного рода.

*

Буржуазно-дворянские круги шумят сейчас о защите родины больше, чем в 1914 году. Кажется, все средства и силы брошены на то, чтобы заставить армию наступать.

Но армия не желает наступать.

И тем яростнее становится проповедь патриотизма и шовинизма.

Несмотря на то, что крупных боев почти нет, русская армия потеряла ранеными с января 1917 года по август месяц триста тысяч человек.

В армии свирепствуют болезни: больных за этот период выбыло из строя почти полтора миллиона.

О числе убитых газеты пока не пишут. Оно, вероятно, тоже значительно; особенно после хваленого июньского наступления.

И люди, обитающие в тылу, не перестают возмущаться, что армия пассивна, что она утратила свой патриотический дух...

Ура-патриоты готовы всю Россию — за исключением себя, разумеется—загнать в окопы. Они похожи на зарвавшегося игрока, который ставит на карту последние гроши в надежде отыграться.

*

В городе нет хлеба. Нет с'естных припасов. Голодают все. Но больше всего солдаты, рабочие.

У магазинов огромные очереди обывателей. В одной руке—корзина, в другой—карточка.

В очередь приходят с вечера, чтобы утром раньше получить. Женщины приносят с собой подушки, кладут их к стене и, притулившись к ним, сидя на панели, дремлют всю ночь. И никто их не гонит, все к этому привыкли.

Очередям дали странные название: «хвосты».

На-днях был у одного знакомого, спрашиваю:

— А где ваша жена?

— В хвосте...

У витрин молочных магазинов стоят целый день толпы обывателей. Глазеют на выставленные головки сыра, на круги масла. Так глазели раньше на бриллианты и золотые безделушки в ювелирных магазинах.

*

Контрреволюционеры надеются, что голод погубит революцию...

На-днях проходил по Обводному каналу. Обтрепанный армеец в истасканной длиннополой шинели с чужого плеча продает из-под полы буханку черного хлеба. Собралась толпа. Солдат ломит за хлеб цену неслыханную. Каравай переходит из рук в руки. Его любовно щупают руками, мнут корку, отщипывают кусочки и пробуют на язык, но купить каравай никто не решается.

Солдату надоел бесплодный торг.

— Да ну вас всех в болото! — он выхватил каравай и собрался уходить,

Тогда кто-то из толпы истерично крикнул:

— Мародер! Бей его, братцы!

Солдата схватили, сбросили в воду, начали топить.

Как на грех, солдат оказался прекрасным пловцом и причинил своим палачам массу хлопот. Он никак не хотел тонуть в узком вонючем канале. Подолгу держался под водой и неожиданно выплывал где-нибудь у самого берега.

Тогда на него с улюлюканьем и бранью бросались несколько десятков озверелых людей. Кидали камнями, палками, поленьями, сухим песком, чтобы засыпать глаза, ослепить...

— Мародер!

— Спекулянт!

Особенно неистовствовал седенький старик с пепельной бородой.

— Тони, тони лучше добром, а то требуху выпустим!—орал он на отчаянно барахтающегося в воде солдата. Молодо, бойко перепрыгивая через поленья и плахи, радостно хихикал, когда бритая голова жертвы скрывалась под водой.

В конце концов солдат измучился и, обессилев, пошел ко дну.

Но успокоенная толпа еще долго не расходилась, точно не веря в смерть своей жертвы.

Суетливый старичок в нанковом пиджаке, потирая сухие костистые руки, авторитетно говорит:

— Бесприменно вынырнет где-нибудь, сукин сын. Ух какой, я вам доложу, жилистый, не приведи господи! Сам руку щупал выше локтя. Пройдет с полверсты по дну реки и вынырнет, где людей нет.

— Не может быть! — возражают ему из толпы.

— Вот те и не может! Завтра он опять каравай продавать будет, а мы с тобой без хлеба пить чай станем.

Толпа, ворча и проклиная хлебный кризис, медленно расходится.

*

Самосуды растут. Судов нет. В овощном ряду у лабаза с капустой стояла большая очередь. Передние увидали в углу лабаза несколько гнилых кочанов капусты. Подняли гвалт. Сзади кто-то подал команду:

— Бей лавочника! Сгноил товар, подлюга!

Бросились бить. Лавочник вырвался и убежал. Со всех сторон напирали любопытные. Получилась давка. Повара из вегетарианской столовой, стоявшего в белом фартуке в очереди, приняли за хозяина лабаза, избили до полусмерти... Переломили несколько ребер, вышибли глаз.

*

Член полкового комитета Форфанов, захлебываясь от смеха, рассказывал мне:

— Понимаешь, был я сейчас в Кексгольмском полку, и что там понаделала наша бражка — уму непостижимо.

Собрали летучий митинг в Александровском сквере. Как всегда, буржуи обзывали солдат шкурниками.

«Кегсгольмцы слушали, слушали,—вышли из сердца. Побежали в казармы, похватали винтовки, оцепили сквер и арестовали всех буржуев.

Пригнали человек триста в казарму, втиснули во взвод. На двери замок. К замку часового. Против окон— часового. В уборную без конвоя не пущают.

Буржуи, конечное дело, перепугались: что вы, дескать, с нами делаете, товарищи и граждане солдаты?

А кексгольмцы им отвечают:

«Вы все кричали: «Война до победы» — вот мы вашу храбрость проверим. Не угодно ли с маршевой ротой в окопы?»

С буржуев песок посыпался:

«Отпустите хоть с женами проститься! — взмолились они перед солдатами. — Письма хоть послать разрешите».

Скулят все, воют. Заболели: кто поносом, кто чем. Врача требуют.

А солдаты никаких не признают. Стоят на революционном своем посту — и все.

«Будете шуметь — перестреляем здесь же в казарме». — Это они буржуям.

Буржуи притихли. Смирились. Сидят уж четвертый день. На паек их зачислили, кормят помаленьку. Не кормить совсем тоже нельзя — подохнуть могут.

— Что же, отправят они их на фронт? — спросил я Фофанова.

— Не знаю, — ответил он скороговоркой. — Командир полка вишь шеперится. «Не имеем, говорит, законного права на это дело. Я, говорит, под суд за вас пойду». А солдаты говорят: «Наша теперь власть. Как хотим, так и делаем».

Пожалуй, отправят.

*

Перевыборы в Петроградский совет. Собрание бурное, как никогда. В казармы явились представители от всех

партий, за исключением кадетов. Кадетские ораторы боятся выступать среди солдат: не одного уже поколотили...

Кадеты сошли со сцены. Борются две силы: эсэры и меньшевики, с одной стороны, большевики — с другой.

После ожесточенных прений большевики на нашем собрании одержали верх.

Их лозунги, бросаемые с трибуны ораторами, каждый раз вызывали взрыв искренних аплодисментов.

В совет выбрали сочувствующих большевикам Дерюгина, Игнатова и Чичкина.

Для контроля над депутатами (за кого они будут голосовать на заседании) выбрали Петрова. Ему вменили в обязанность сидеть в зрительном зале и не спускать глаз с своих представителей.

Уполномоченный по перевыборам возражал против такого «недоверия» к только-что выбранным депутатам. Не послушали.

А депутатам дали короткий словесный наказ:

— Ежели в совете будете за буржуазные резолюции голосовать, войну до победного конца приветствовать, не показывайтесь в казарму... С четвертого этажа в окно выбросим!

*

Назревают события. Не сегодня—завтра на улицах будут строить баррикады. Вторая революция неизбежна. Борьба обещает быть жестокой.

Нужно четко выявить свое отношение к грядущим событиям.

Но сделать это так трудно.

Я стою на распутьи.

К большевикам меня притягивают одни моменты и отталкивают другие.

Я обращаю свой взор в сторону Короленко и Горького — к их голосам всегда прислушивался. Но сегодня я ничего от них извлечь не могу. Они сами запутались в событиях. Горький определенно против новой революции, против большевиков. Но он же против войны и, стало быть, против эсэров и меньшевиков, которые после ухода со сцены кадетов монополизировали право кричать о войне до победы.

Со страниц «Новой Жизни» Горький обстреливает и правых и левых. По его мнению, все делают не то, что надо. Все губят революцию.

*

В офицерском клубе давали ужин в честь навестивших наш полк офицеров французской службы.

Достали коньячку, шампанского, и все были навеселе.

Начались тосты. Пили за французскую армию, за французского президента.

Кадровые офицеры предложили тост за великого князя Николая Николаевича, шефа нашего полка. Несколько человек новоиспеченных выборных офицеров (из бывших фронтовых унтеров) запротестовали, но бокалы осушили.

Офицеры предложили тост за бывшего императора Николая.

Молодые энергично запротестовали. Протест поддержали и французские гости. Они, как офицеры республиканской армии, не могут пить за сброшенного с престола монарха.

Пререкания перешли в скандал.

На пол полетели тарелки, ножи, вилки. Обе стороны схватились за сабли.

Кадровое офицерство смяло республиканцев и выбросило их за порог клуба.

Многим основательно пересчитали ребра. Одному прапорщику расквасили тяжелой бутылкой из-под шампанского физиономию.

— А все-таки царя вам не видать! — кричали республиканцы по адресу кадровиков.

— А ваш Керенский — крещеный жид! — выкрикивали в свою очередь реакционеры...

В помещение нашей роты вбежал взволнованный вестовой из офицерского клуба.

— Братцы! В клубе наших выборных офицеров избили. Старые офицеры пьют за здоровье Николая Романова. «Боже, царя храни» поют.

Час ночи.

Разгар солдатской гульбы. Народу в казарме мало: часть в карауле, часть танцовала в соседнем батальоне вальсы и кадрили.

Домовничали лишь старики, больные да не умеющие танцовать.

— Проучить их, сволочей, — рявкнул отделенный Живов и первым бросился к пирамиде за винтовкой.

В пять минут оделись и вооружились все до одного, кто был налицо.

Сжимая в руках винтовки, бросились в клуб на расправу с теми, которые «хочут царя» и смеют открыто заявлять об этом.

Клубных гуляк кто-то предупредил.

Прибежавшие солдаты не нашли в клубе никого. На полу валялась побитая посуда, сорванные погоны, клочья одежды.

В мутных лужах вина и пива плавали окурки.

*

Был в казарме представитель Петросовета.

Записывал желающих—из окончивших учебную команду — обучать военному делу организующиеся на заводах отряды Красной гвардии.

Я записался. Работаю уже месяц. Занимаемся три раза в неделю по вечерам. В воскресенье — сверх программы — четыре часа. У меня целый взвод в сорок восемь бойцов. Шагистику откинули. Проходили основные правила стрельбы. Принципы ведения полевой и уличной — в городе — войны.

Народ смышленный. За месяц многие в совершенстве научились обращаться с винтовкой и пулеметом. Отношениям с учениками не нарадуюсь.

Сегодня по окончании занятий на заводском дворе ко мне подошел один из моих учеников, фрезеровщик Кондрашов, и, краснея, путаясь в словах, сунул мне в руку двадцать рублей.

Плата за мою работу.

— Это товарищи собрали меж себя добровольно, наказали мне вручить вам, — пояснил он. — В следующий месяц тоже соберем, так что вы уж будьте без сумления. Мы не эксплоататоры, знаем, что вас кормят теперь не ахти.

При других обстоятельствах эта подачка возмутила бы меня и я бросил бы работу.

Но сегодня она, эта милая чуткость и заботливость, так умилила и глубоко взволновала меня.

От денег я, конечно, отказался, хотя финансы мои и находились в самом плачевном состоянии.

Сегодня впервые за все годы войны почувствовал я полное удовлетворение жизнью, и от этого вдруг стало так тепло и радостно на душе.

*

Большевики требуют опубликования всех секретных договоров между бывшим царским правительством и союзниками.

Союзные консулы в панике. Боятся скандала. Положение союзников глупое.

Требование большевиков разумное, но я добавил бы к нему еще один пункт: уволить со службы всех дипломатов, ибо они даром едят хлеб народный.

Заключенные договоры никого и ни к чему не обязывают.

Равновесие Европы — и всего мира — регулируется только реальным соотношением военных и экономических сил.

И так как в данный момент во всех странах у власти стоят величайшие жулики, то все и обманывают друг друга.

Дипломатия при данных условиях вырождается в никчемное пустословие.

Капиталисты всех стран хотят воевать, но в то же время лукаво притворяются, что ищут мира. Назначение дипломатов состоит в том, чтобы скрывать от широких масс населения истинное положение вещей.

Говорить о мире в капиталистическом обществе все равно, что говорить о вреде алкоголя на собрании рестораторов и кабатчиков, которые наживаются на пьянстве людей...

*

В штабе полка случайно столкнулся с командиром роты.

— Послушайте-ка, — остановил он меня, — в одно очень порядочное семейство нужен солидный репетитор для двух оболтусов. Меня просили порекомендовать кого-нибудь. Хотите, я вас устрою?

Теперь на военных сезон, вы, как старый интеллигентный фронтовик, будете украшением салона, в некотором роде.

— Благодарю вас, господин поручик. Вы опоздали. Я уже ангажирован.

— Кем? — спросил он огорченно.

— Я репетирую на Выборгской стороне сорок человек рабочих.

— Да? — острые иглы глаз впиваются в меня. — Почему же сразу сорок? Это целая школа. И куда вы их готовите: в гимназию или прямо в университет — этих «товарищей рабочих».

— Ни то, ни другое, господин поручик. Выше.

Глубокое изумление.

— Вы шутите?

— Нисколько.

— Об'ясните.

— Я обучаю их искусству владеть оружием и разбивать головы правителям, которые попирают интересы

народа. Проходим стратегию и тактику уличных боев. Не забудьте, я ведь кончил учебную команду на фронте. кое-что смыслю в этом деле.

— Вот как! — глаза сузились, пышут огнем. — Похвально! Но полагаю, что это делается без ведома и разрешения правительства, даже без ведома своего полкового начальства. Какое вы имеете право самовольно отлучаться из казарм и обучать военному делу какие-то банды? Я немедленно доложу об этом командиру полка и поставлю вопрос в полковом комитете.

Разгорячившись, поручик говорит громко и резко. Вся канцелярия притихла. Полковые писаря с любопытством поглядывают на нас, предвкушая скандал.

— Доложить об этом вы можете. Это ваше законное право. Но знайете: я обучаю отряд рабочих-металлистов, отряд Красной гвардии и поэтому прошу вас слово «банды» взять обратно. В противном случае...

— Что в противном случае? Вы смеете мне угрожать?! Вы читали приказ.

Я быстро нагибаюсь к столу, хватаю массивную металлическую чернильницу.

— В противном случае я запущу этой чернильницей в вашу физиономию, господин поручик...

Ни слова не говоря, он повернулся на каблуках и скрылся в соседнюю комнату, оставив меня в картинной позе, с чернильницей в поднятой руке.

Я бросил чернильницу на стол перепуганного писаря, она с шумом покатилась на пол.

Я выскочил на двор и пошел в казарму. Все тело дрожало, как в лихорадке.

Когда я бываю на митингах и слышу злобные крики мещан и контрреволюционеров против распущенности солдат, я чувствую себя рядовым окопным солдатом, и мне кажется, что все удары буржуазных ораторов, все измышления буржуазных газет направлны против меня лично. Я прекрасно понимаю, что за этими упреками по адресу солдат скрывается органическая ненависть к революции. Если буржуазный оратор кричит: «Солдаты торгуют на панелях папиросами», это нужно понимать так: «Давайте старый режим. Восстанавливайте старые казарменные порядки. Давайте гусиный шаг, мордобитие и стояние под винтовкой».

Многие плачут по старым порядкам, но открыто признаться в этом нехватает решимости. Действуют исподволь.

*

Старые офицеры, оставшиеся за бортом после перевыборов командного состава, ведут агитацию против выборной системы.

Возмущаются приказом № 1.

В офицерском клубе капитан Замбар-Заречный открыто ораторствовал:

— Я понимаю, господа, некоторый сдвиг был нужен, но нельзя же доходить до такого безобразия, как выборы командиров самими же солдатами по какой-то жидовской четыреххвостке. Разве можно таким дуракам, как наши солдаты, давать свободу?

Офицеры ему не возражали. Сочувственно улыбались.

*

Проводится кампания по сбору теплых вещей для фронта. Очевидно, зимняя кампания неизбежна.

Ходили по квартирам с подписными листами.

Буржуазия кричит о войне до победы, а жертвовать у нее рука не поднимается. Дают мало.

Сегодня на полковом митинге наши большевики предлагали:

— Раз нужно для армии, обложить буржуазию в обязательном порядке.

Докладчик, член Петросовета, эсэр, внушительно ответил:

— Обложить нельзя. Это уже будет покушение на частную собственность. Частная собственность даже в Великую Французскую революцию не была тронута. Мы в принципе, конечно, за уничтожение собственности, но нельзя так, сразу...

Эс-эру очень горячо отвечал солдат первой роты Широков:

— Одеяла, чулки, портянки взять у буржуев, говорите, нельзя. Частная собственность. Миллионы награбили. Дома каменные понастроили от военных доходов — и ничего тронуть у них не моги!..

Почему же меня берут и гонят на фронт? Я три раза ранен. Разве мое тело, моя жизнь — не собственность?

Почему мою собственность взять можно, а собственность миллионеров нельзя?

Вы говорите: Великая Французския революция. Значит, не Великая она, коли собственность буржуйскую пощадила. А если она была Великая, то нам этого мало, мы хотим Величайшую!..

В обед ко мне подходит солдат Иванов.

— Был я намедни на митинге в городе. Оратор доказывал, что скоро социализм настанет. Все будет общее. Всех как бы в одну семью сгонят. Правда ай нет, товарищ вольноопределяющийся?

— Правда. К тому идем, товарищ Иванов. По-новому заживем скоро...

Он смотрит на меня несколько секунд и молчит, видимо, вдумываясь в новое для него положение.

*

Митинг по текущему моменту закончился вчера в казарме очень бурно.

Докладчик-меньшевик два часа витиевато и скучно говорил о наших долгах, о наших обязанностях в отношении союзников, о внутреннем положении и больше всего о необходимости продолжения войны.

Первым слово по докладу взял солдат Квашнин.

— Я шесть лет на военной службе безотходно трублю. С 1911 года маюсь. Шесть лет, семой пошел, на цепе сижу. Скоро конец будет?

Жизнь проходит, молодость проходит, братцы, а маяте нашей солдатской и концов не видно... Вот я и говорю всем: довольно! К чорту все: и окопы, и вшивые казармы! Давай нам замирение! Давай роздых! Окаянные мы, что ли, всю жизнь носить эту серую шинель? Отпущай всех по домам. Семьи без нас измучились, хозяйство в развалку пошло!.. Передышку дайте!

Не дадите — новую революцию делать будем. Все перевернем вверх дном!

Под бешеный треск аплодисментов он сходит с бочки и скрывается в толпе.

Следующий оратор опять мямлит о необходимости войны.

И сотни глоток кричат ему угрожающе:

— Долой! Заткнись!

— Слезай сам, а то стащим!

— Хошь воевать — айда на фонт, а мы боле не хочем!

— Испробовали, и хватит с нас!

*

Смольный становится очагом революции. Ослепительные трескучие искры от него разносятся по всей России. Горючего материала кругом полно.

Фетишизм Таврического падает с каждым днем.

Таврический еще царствует. Но он похож на человека, про которого говорят: «Он мертвее мертвого».

Массы левеют.

В Петросовете левое крыло пожирает центр. Кого не может проглотить, выплевывает на улицу.

В сущности говоря, временному коалиционному правительству нужно бы уйти в отставку. Уйти, пока можно без крови и даже с театральным жестом...

Но оно не сделает этого. Временное правительство ослеплено собственным красноречием, убаюкано сладкой реторикой Александры Феодоровны [1]

Министры намерены сидеть в своих креслах до того момента, когда солдаты ворвутся в Таврический и в Зимний с оружием в руках.

*

---

[1] Так солдаты звали Керенского.

Докатился слух, что после восстановления на фронте смертной казни военно-полевой суд расстрелял солдата за кражу яблок из помещичьего сада.

В газетах появились туманные заметки, не то оправдывающие этот расстрел, не то отрицающие самый факт расстрела.

Слух взбудоражил все полки. Сегодня на митинге в нашем полку докладчику по текущему моменту задали вопрос:

— На каком основании нашего брата за буржуазные яблоки расстреливают?

Докладчик был видный эсэр, член Петросовета. Уверенно заговорил заученные слова о мародерстве, о дисциплине, о чести «революционного» солдатского мундира.

Кончить ему не дали.

Загалдели. Ругательства, протесты, взлетая над бритыми головами слушателей, грузно шлепались в трибуну:

— Старый режим вертаете!

— Палачество развели для нас!

— Почему царя не казнили?!

— Министров почему не повесили?!

— Они, вишь, яблочков чужих не ели!!!

— Долой смертную казнь!

— Войну долой!

— Погодите, мы вам припомним эти «яблочки»!

— Придет наш праздник!..

— Долой!..

Маститый эсэр сошел с трибуны с поникшей головой под злые солдатские свистки и оскорбления.

Полк шумел прибоем.

Кто-то высоким тенором кричал:

— В ружье, братишки! В ружье! Разнесем! Долой смертную казнь!

*

Ленин ушел в подполье. Но авторитет его в казармах продолжает расти. За него солдаты готовы в огонь и в воду.

Собрали деньги на покупку типографского оборудования для большевистской газеты «Правда».

Собрали мало. Но жертвовали охотно последние полтинники. Те, у кого не было денег, несли запасные рубахи, подштанники. Сборщик, не имея инструкции принимать вещами, смутился и отказал. Солдаты искренно огорчились.

— Как же мы-то? Чем мы виноваты, что денег нет?

Газету «Правда» считают своею. Ей верят. Она становится рупором многомиллионных солдатских и рабочих масс. «Солдатская Правда», «Рабочая Правда», «Окопная Правда». Она меняет названия, но облик ее неизменен. Казарма знает, почему меняются названия этой газеты, почему ее «запрещают».

Когда ее закрывали, солдаты второй роты хотели с винтовками итти «на выручку».

А третья рота предлагала итти разгромить все буржуазные и эсэровские газеты.

— За что нашу «Правду» закрыли?

— Око за око!

Полковой комитет еле угомонил всеобщее «волнение».

Послали резкий протест в совет

*

По всей России аграрные беспорядки. Мужики забирают помещичью землю, громят «имения» и «экономии», не дожидаясь санкции учредительного собрания, которое им обещают Керенский и Виктор Чернов.

Местные власти мужиков арестовывают и «вразумляют», как в старые годы.

Солдаты ежедневно получают из своих деревень письма, полные жалоб и стонов.

Эти письма революционируют казарму сильнее, чем зажигательные речи левых ораторов.

*

На Петроградской стороне пожар. Третьи сутки горят ракетные склады, фабрики, работавшие на оборону.

Дым. Огонь. Жара...

Ни тушить, ни подступиться нельзя.

Огромный двор—пустырь, заваленный отбросами, мусором, навозом, материалами, сырьем, типичный «расейский» заводский двор — горит и тлеет.

Ночью прыгающее зарево пожарища освещает весь город.

В переулках светло, как на Невском.

Из раскаленных недр пылающих складов фейерверком взлетают над городом сотни шипящих ракет — совсем как на фронте — переливаясь синими, зелеными, желтыми, фиолетовыми, светло-голубыми огоньками.

Высоко в небе взрываются ракеты, с треском рассыпаясь мириадами искр. Сеют над городом мелкий золотой дождь.

Ветер подхватывает горящие ошметки ракет, смоляной пакли, стружек, дранки, толи, швыряет их по всем

направлениям. Они плавно носятся над городом, как выгнанные из своего гнезда хищные огненные птицы.

Оседают на крышах домов, на дворах, падают в слуховые окна чердаков, повергают обывателей в панический ужас...

В кварталах, прилегающих к пожарищу, не спят по ночам. Добро стерегут. Сгореть боятся.

Наготовили бочки с водой, ведра. По ночам смотреть на пожар собираются тысячные толпы.

А тушить некому. Грязное дело.

Опасное дело.

Со всего города слетелись пожарники, но они бессильны совладать с разбушевавшейся стихией.

*

На четвертую ночь перекинулся пожар на большой завод, изготовляющий патроны.

Наш батальон — был дежурным по гарнизону — вызвали тушить.

Дежурный офицер, придя в казармы, энергично поднимал спящих людей.

Через полчаса восемьсот человек с прибаутками строились на дворе в колонны по отделениям.

— Равняйсь! Смирно!

Команда исполняется четко, безукоризненно. Сказывается старая гвардейская выучка.

После команды «смирно», как всегда, наступила полная тишина. И в этой тишине кто-то настойчиво спросил:

— А куда, позвольте узнать, идем, господин капитан?

— Пожар тушить, товарищи. — Дежурный офицер недоуменно пожимает плечами. Он не понимает, зачем спрашивают, когда всем ясна тревога.

Не спрашивая разрешения ротного, из рядов второй роты выходит на середину рядовой Саврасов. Подбегает к лежащей у склада порожней бочке и, взобравшись на нее, разражается речью.

— Товарищи! Куда мы идем? Подумайте, товарищи!.. Пожар тушить, говорят. Хорошо, мы не прочь. Но что горит, нужно спросить?

— Известно что, об'яснили уж! — несется реплика из первой роты.

Саврасов, упоенный собственным красноречием, не слышит.

— Фабрики горят. А чьи это фабрики? Буржуазные они аль нет?..

Получилась заминка. Стройные колонны, уже готовые к выходу за ворота, расстроились, расползлись. Стягиваются к бочке.

Кто-то из прапорщиков дергает Саврасова за полу шинели, стараясь стащить его с бочки.

— Правду говорит! — летит колкий возглас из глубины серых шинелей.

Ободренный Саврасов отталкивает прапорщика и снова, взмахнув руками, философствует:

— Дак почему же мы, товарищи, как сознательные и революционные войска пойдем защищать экономические интересы буржуазии? Почему, а? Ответьте мне, господа командиры, сделайте милость.

Горит, ну и пусть горит. Грабленное все, ворованное, на рабочей крови замешанное, а мы тушить идем!

Разве для того мы революционную присягу принимали, чтобы буржуев из огня спасать?

Патронный завод горит? Пусть горит!

Все патронные заводы зажечь надо. Сжечь все дотла — тогда и война кончится, иначе никак не кончишь: дураков расплодилось столько, что еще на три года хватит... Правильно я говорю, товарищи, иль нет?

Серые шинели ответили единым вздохом:

— Правильнаа!!!

*

Совсасова сначала слушали с улыбкой, отпускали остроты. Потом смолкли, серьезны стали. Молчали и офицеры.

У бочки импровизированный митинг вырос.

На бочку вылез фельдфебель Заболотный.

— Товарищи! Саврасов чепуху мелет! Фабрики буржуазные — верно. Но ведь мы собираемся передать всю власть советам и сделать эти фабрики народным достоянием. Это как? Что мы будем обращать в народное достояние, если все фабрики сгорят?

— Верна! — выдавливает десяток голосов.

Шум. Гам. Крик. Столпотворение.

— Тушить надо итти, чего там!

— Не ходите, братва! Пущай полыхает!

— Когда власть наша будет—тогда и тушить пойдем.

— Дурак!

— От дурака и слышу!

Один оратор сменял на трибуне другого. Митинговали до утра. А над городом трещали ракеты, полыхало пьяное зарево пожара.

В шесть часов утра, очумелые от ругани и бессонницы, послали делегата в большевистский комитет за советом. Постановили:

— Как скажут большевики — так и сделаем. Скажут: «Нужно тушить» — в огонь полезем. Скажут: «Не нужно» — пулеметами на пожар не выгонишь.

*

Нельзя оставаться между двух огней.

Я делаю выбор.

Иду с большевиками.

Еще несколько недель тому назад это казалось для меня невозможным.

Сегодня возможно.

Я не обольщаю себя никакими надеждами. Я знаю, что предстоит упорная и длительная борьба, изнурительная работа, новые лишения. Все это знаю.

Знаю и то, что солдатская масса, скомплектованная из мужиков, сейчас же после заключения мира с Германией хлынет потоками по домам. Те, которые сегодня яростно защищают большевиков, завтра, получив «свое», уйдут в себя.

Война, вероятно, примет новый характер. Офицерство исподтишка поговаривает об организации «своих» батальонов смерти.

На развалинах старой армии большевики будут создавать новые рабочие революционные полки.

Я против войны. Я ненавижу войну со всеми ее ужасами, со всем ее безумием.

И именно поэтому я принимаю решение стать под знамена большевиков.

Большевистская революция — война войне. Это последняя война. Это единственная справедливая война.

Рабочий класс — по своей об'ективной роли в современном обществе — этичнее, справедливее и прогрессивнее всех остальных слоев населения. Современный рабочий в силу своего положения в производстве и в обществе абсолютно не заинтересован в империалистической войне. Мелкое крестьянство тоже не хочет войны, но оно распылено и не организовано.

Рабочий класс — единственный класс, который не только не хочет империалистической войны, но может активно противодействовать этой войне.

«Война войне!» — этот лозунг является самым прогрессивным, самым разумным лозунгом переживаемого момента.

Вот почему меня так радует рост рабочих отрядов Красной гвардии. Вот почему так легко и радостно работать над укреплением этих отрядов.

Я ненавижу войну. И во имя этой ненависти к войне, во имя этой любви к жизни я вольюсь серым незаметным солдатом в рабочие отряды и буду сражаться за новую жизнь. Буду воевать против войны. Против условий, порождающих войны...

Путь тяжелый, но радостный.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Вчера еще был туманный призрак власти временного правительства. Керенский издавал приказ о закрытии большевистских газет: «Солдат» и «Рабочий Путь». Диктовал войскам делать то-то и то-то, передвигал их с места на место.

Сегодня — диктатура пролетариата. Второй Всероссийский с'езд советов об'явил правительство Керенского низложенным.

Роды новой власти оказались легкими. Перед с'ездом напряжение было большое. Волновались обе стороны. Керенский с пафосом заявлял:

— Только через мой труп большевики придут к власти!

Остальные министры вторили премьеру:

— Да, да! Через наши трупы только!

Но Керенский как был, так и остался комедиантом. При первых выстрелах удрал из Петрограда, переодевшись в матросский костюм. Всех своих коллег, поклонников и прихлебателей бросил на произвол судьбы.

— Спасайтесь сами, как знаете. Я вам не костыль, чтобы на меня опираться.

Ждали грохота канонад, уличных боев, пулеметной трескотни, баррикад, а переворот совершился под музыку двух холостых орудийных выстрелов с «Авроры».

Ни один полк не выступил в защиту Керенского.

Юнкера, батальон смерти, ударники, георгиевские кавалеры и женские роты, стянутые к Зимнему дворцу для охраны временного правительства, представляли собой по сравнению со стотысячным революционным гарнизоном «Михрюткино войско».

Без всяких усилий, шутя, «Михрюткино войско» было выброшено из Зимнего и в панике рассеялось по окраинам столицы.

Арестовывать «гвардию» Керенского большевики не захотели.

Ни крови, ни жертв...

— Как-то вот только обойдется в Москве? В провинции? Фронт, конечно, за нас.

*

Только-что вернулись с «фронта» из-под Царского села.

Керенский набрал горсточку «верных» войск и решил нас «попужать», но ничего не вышло.

С небывалым энтузиазмом выступили из Петрограда все полки. Рядом с гвардейскими батальонами шли, уже «созревшие» вполне для боя отряды рабочей Красной гвардии.

Войска Керенского не имели над нами ни количественного, ни морального перевеса. Но в бой все же ввязались.

Под Царским и под Красным селами смерчем заклубилась пурга, загремели выстрелы.

Рыли окопы, ставили рогатки, мотали колючую проволоку.

Но все это пахло бутафорией. Походило скорее на маневры, чем на всамделишную войну. Мы чувствовали слабость противника, идейный разлад и неустойчивость в его рядах.

Лежа в цепях на подступах к Петрограду, мы ни одной минуты не верили в серьезность борьбы с Керенским.

И эту уверенность в своем превосходстве над противником мы не утратили бы даже тогда, когда узнали бы, что против нас двигается весь фронт с портретами Керенского на знаменах.

Так велико было сознание правоты. Так сильна и единодушна была воля к победе у каждого стрелка.

Против нас были двинуты сначала кавалеристы в конном строю, потом цепи пехоты под прикрытием броневиков.

Мы подпускали их на выстрел охотничьего ружья и одним дуновением опрокидывали назад.

Били щелчками в лоб, как комаров, и не было в сердцах наших настоящей злобы, обычного воинского исступления, нарастающего в бою. Не было потому, что попытка Керенского взять Петроград казалась смехотворной.

Взятых в плен раненых солдат и офицеров любовно перевязывали, поили чаем, угощали бисквитами и отечески журили:

— В своем ли вы уме?

— Против кого идете?

— Мы — народ, демократия. Россия за нами, и за нас миллионы трудящихся. Мы за мир.

— Ваш Керенский — антюрист, шарлатан!

Пленных без конвоя направляли в город, в госпитали, добродушно улыбались. Их взгляды говорили нам: «виноваты, больше не будем». Не война — маневры.

*

В городе начались погромы винных складов. Участники — уголовный элемент и мещане. Многие переодеты солдатами, а может быть, и в самом деле солдаты. Несомненно, что погромами руководит чья-то опытная твердая рука. Кто-то делает «подводы», указывает погромщикам «ренсковые погреба» и подвалы, с которых давным-давно сняты заманчивые зеленые вывески.

У разбитых винных подвалов происходят дикие сцены. Говорят, что в одном подвале у Невской заставы под напором толпы раскатились бочки с вином, наложенные до потолка, и на-смерть задавили до десятка пьяниц.

В другом подвале, в районе Лиговки, из разбитых бочек напустили на пол в аршин вина. Из пыльного заплесневелого подвала сделали винный бассейн. Из бассейна черпают ковшами, ведрами, пригоршнями, банками из-под консервов. «Деловые» тащат вино домой, чтобы спекулировать на нем. Рыцари зеленого змия — «бескорыстные джентльмены» — выпивают свою долю тут же.

Напиваются до одури, до горячки, испражняются в винный бассейн и снова пьют из него...

Рассказывают, что несколько человек «пьяных, как стелька», утонули (захлебнулись) в винном бассейне.

Оставшиеся в живых вытащили утопленников за ноги и, ничуть не смущаясь, принялись допивать благодатный напиток.

— Спирт ничем не испоганишь!

Милиции нет. Она только организуется и совершенно бессильна прекратить винную вакханалию.

Высшим властям тоже не до винных погромов. Перед ними ежечасно всплывают сотни сложнейших государственных вопросов, которые требуют немедленного разрешения.

Кроме того, пропасть возни с фронтом, с армией.

*

На ликвидацию винных погромов — наконец-то — решили бросить воинские части. В помощь милиции формируются специальные дружины из трезвенников-солдат и офицеров.

Я записался. Назначили «главковерхом» отряда трезвенников в двадцать пять штыков.

Ночью ходили в «дело». В районе Суворовского проспекта «разбили» и «рассеяли» две банды погромщиков. Потерь с нашей стороны нет.

Мои ребята возмущены погромами и рвутся в бой. Приходится их сдерживать.

После нескольких залпов в воздух, когда банда пьянчужек бросилась на утек, дружинники беспощадно молотили их прикладами.

Многим повытрясли хмель и, пожалуй, навсегда отбили охоту к погромам.

Один из дружинников говорил мне:

— Товарищ начальник! Чего зря поверху палим? Прикажите стрелять прямо в эту сволочь. Разве это люди? Мы революцию делаем, за новую жизнь боремся, чтобы всем хорошо было, на нас с удивлением смотрит

весь мир, а эта мразь шухер устраивает. На всю революцию пятна кладет. Эх, так и чешутся руки, ей-богу!

Другие тоже настаивали на этом.

Но у меня категорический приказ Петроградского совета «пускать оружие в ход только при случае нападения на дружинников».

Дисциплина прежде всего.

Совету виднее.

Знаю, приказ отдан не из сантиментальных побуждений.

*

Получили приказ: выделить из батальона отряд в четыреста штыков и срочно направить его в Могилев на Днепре в распоряжение главнокомандующего, прапорщика Крыленко.

Волнуется казарма.

— В Могилеве нам нечего делать! Даешь демобилизацию. Даешь проходное свидетельство на родину!

— Каки таки отряды??

— Опять на фронт?

— Что за прапорщик-вояка об'явился?

— Для чего переворот делали?

— За что боролись?

— Опять Керенщина какая-то?

— Никуда не поедем, с места не сдвинемся!

Митинг собрали на дворе.

Пришли все до одного.

— Слово имеет представитель Петросовета.

Хмуры солдатские лица. Ни одного хлопка, которыми всегда встречали за последнее время появление на три-

буне представителей совета и военно-революционного комитета.

Оратор выдался блестящий.

Начал издалека, но с первых же слов ухватил каждого солдата за сердце и так держал в руках, не выпуская до самого конца.

На сердцах играл, как на скрипке.

И плакали и смеялись, когда он хотел. Дышали одним вздохом с ним. Ловили глазами и ртом каждый жест его руки.

Безжалостно разбередил он не зажившие раны. Воскресил в памяти и старую царскую казарму, и гусиный шаг, и словесность, и зуботычины, и колку чучел, и окопную жизнь.

Вспомнил про урядников, становых, земских, про налоги, про помещиков, про буржуазию.

Говорил два часа.

Море дышало на город льдом и вязкими туманами. Люди ежились от холода, но слушали, не прерывая ни звуками протеста, ни возгласами одобрения.

— Дело говорит!

Фронтовики, закаленные в боях, плачут навзрыд и, стыдясь своей слабости, своих слез, уходят из тесного круга застывших в немой неподвижности тел куда-нибудь за угол, чтобы притти в себя, протереть глаза непослушные.

Когда все, что нужно сказать, было сказано, оратор спросил сурово-сухим голосом:

— Товарищи солдаты! Хотите вы, чтобы был восстановлен старый режим?

Зашевелилась толпа.

Яростно и злобно передернулись обветренные шафранные лица.

Горохом окнуло по двору могучее эхо.

— Не хотим! Ляжем костьми — не дозволим!

Оратор махнул шапкой, призывая к порядку.

— Так слушайте, товарищи, дальше. В Могилеве ставка верховного главнокомандующего, генерала Духонина.

Взяв власть в свои руки, мы предложили Духонину немедленно прекратить военные действия на всех фронтах и начать переговоры о мире. Духонин отказался выполнить наш приказ.

Тогда мы назначили верховным главнокомандующим нашего товарища, большевика, прапорщика Крыленко.

Мы сделали это для того, чтобы выполнить волю широких трудовых масс, чтобы обеспечить дело мира.

Генерал Духонин отказался сдать дела прапорщику Крыленко.

Генерал Духонин назвал второй Всероссийский с'езд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «с'ездом собачьих депутатов».

Генерал Духонин не признает власти советов.

Генерал Духонин сгруппировал вокруг себя все реакционное офицерство, всех монархистов, он угрожает завоеваниям революции, срывает нашу политику мира.

Товарищи солдаты! Вы — революционный гарнизон красной столицы. Вы теперь не лейб-гвардия его величества, а Красная гвардия революции. Слово теперь за вами.

Нужно выбросить из ставки вооруженной рукой зарвавшегося царского генерала.

Согласны ли вы выполнить приказ советского правительства?

— Согласны! — зычно гудит ответное эхо.

— Обещаете ли выполнить свой революционный долг до конца?

— Обещаем и клянемся!

— Если да, то сегодня же отправляйтесь в Могилев.

Если нет, бросайте винтовки и бегите по домам, идите танцовать с девками, торговать селедками, менять барахло в Александровке вместе с дезертирами...

Но помните, что в Могилеве сейчас решается судьба нашей революции.

И от вас самих зависит стать верными, бесстрашными рыцарями революции или палачом ее...

Оратор кончил.

Полк точно взбесился.

Летят вверх измятые серые шапки, качают оратора, членов полкового комитета. И «ура», такое громкое и искреннее, какого, вероятно, никогда не слыхивала казарма, волной переливается из одного конца двора в другой.

— Да здравствует Ленин!

— Да здравствуют советы!

— Смерть Корнилову и Духонину!

Вечером грузились в вагоны.

Тихо, без проводов и помпы, двинулись в Могилев сокрушать непокорного генерала Духонина.

С нами вместе выехал отряд революционных моряков Балтийского флота.

Быстро летим в Могилев.

На всех станциях нас пропускают вне очереди. Матросы на остановках распевают: «По морям, по волнам». При отходе поезда кричат:

— Даешь Духонина! Урр-а!

Настроение у всех бодрое, революционное, но должной дисциплины все-таки нет.

На одной станции какой-то дурак крикнул вдоль вагонов.

— Братва! Патоку выдают бесплатно! Налетайте!

И все сломя голову бросились с котелками за патокой.

Коршуньем налетели на сорокаведерную бочку, стоящую на платформе. Вышибли дно. Давя друг друга, черпали в котелки липкую густую полузастывшую жидкость и бегом летели в теплушки.

Дело было после второго звонка.

Очухавшись в теплушке, пробовали «патоку» языком и в ярости выплевывали, матюгались... В котелках оказалась смола...

Котелки на каждой остановке мыть бегали, песком оттирали смолу...

*

Смена бригады. Стоим сорок минут. В вагон с помощью женщины влезает человекоподобное существо в засаленной солдатской фуфайке. Вместо ног — два обрубка. В руках короткие костыли.

Положил костыль на пол. Окинул вагон пристальным жалящим взглядом.

— Внимание, граждане, братишки. — Вынул проворно из кармана две деревянных солдатских ложки.

Ударил ложкой о ложку, и дробно застрекотал веселый деревянный аккомпанемент.

Женщина, по-простонародному подперев щеку ладонью, выдохнула напев популярной песенки:

Крепко бабушка Ненила
Революцию бранила:
Вот свобода, так свобода,
Нету хлеба у народа...
Батюшки!

Расплылись в улыбках грубые солдатские лица. Сочувственно мотают артистам головой. Обступили из всех углов. Гул одобрения и восторга.

— А еще можешь?

— Могу!

— Качай дальше!

И опять дико застрекотали в привычных руках обтертые лысые ложки. Пели оба. Мужчина — хриплым грудным баритоном, женщина — мягким надтреснутым сопрано.

Лихим перебором оборвался мерный стук деревяшек. Смолкла песня. Просительно смотрят из-под красных облезлых бровей бесцветные глаза.

— Товарищи! Пожертвуйте контрибуцию в помощь жертве империалистической войны. Ноги в Карпатах оставил... Сами видите...

Женщина кладет на ладонь шапку и молча обходит всех.

В шапку щедро сыплются зеленые двадцатки [1].

---

[1] Двадцатикопеечные марки, ходившие тогда наравне с серебром.

Безногий «сын свободы», улыбаясь, тепло прощается с нами и благодарит.

На кой чорт ему, безногому, свобода?! У человека отняли самое ценное, что он имел.

И вместо этого дали: две ложки, право взять поводыря и распевать в вагонах на ряду с агитками революционных поэтов пошлые и глупые анекдоты.

Таких «сынов свободы», неспособных к труду, теперь, вероятно, миллионов десять...

Как они будут жить? Где возьмет истощенная страна средства для их обеспечения?

Миллионы нищих-калек!.. Да, войну пора кончать. Какой угодно ценой, но мир!

*

Остановились в тридцати верстах от Могилева. Разведка сообщила, что нас уже «ждут».

Духонин приготовился встретить нас с «хлебом», с «перцем» и с «солью».

На перроне станции выставлены пулеметы и пушки дулами на Москву.

Наутро вылезли из вагонов. Развернулись рассыпным строем, цепями, бесшумно двинулись на спящий предутренним сном город.

Вторая разведка донесла:

— Артиллеристы, пулеметчики и казаки Духонина отказались стрелять в представителей петроградского гарнизона. Бросили оружие и разбежались.

В городе безвластие.

Духонин покинут всеми и не имеет никакой реальной силы.

Погрузились в вагоны и с песнями влетели в Могилев.

Духонин, действительно, оказался генералом без армии.

Его подняли с постели и об'явили арестованными и посадили в одну из наших теплушек. Могилев взяли без выстрела.

Н. В. Крыленко принял верховное командование.

В уютном белом домике на живописном берегу Днепра, с радио-мачтой на крыше, где вчера еще во главе с Духониным заседали убеленные сединами важные генштабисты в орденах и густых эполетах, где, звеня шпорами, скользили по паркетам бравые ад'ютанты, где пахло дорогими французскими духами и английским табаком, сегодня крепко обосновались приземистые кривоногие «братишки» в темно-синих бушлатах, в широченных клешах и высокие дородные гвардейцы-солдаты с желтыми петлицами, в парадных бело-лакированных поясах.

Бонч-Бруевич, ад'ютант нового главкома, высокий человек (чуть ли не вдвое выше Н. В. Крыленко), в желтом нагольном мужицком полушубке, налаживает связь с армией, восстанавливает порядок на фронте и в городе.

И радио-мачта из белого домика на живописном берегу Днепра уже гонит волны-приказы:

«Всем.

Всем.

Всем.

Военные действия прекратить. Перемирие на всех фронтах...

Главковерх *Н. Крыленко*».

*

Патрулями рассыпались по городу. Оцепили все переулки. Патрулям приказ: «Произвести повальные обыски».

Офицеры и генералы бросали свои части на произвол судьбы, удирали, как крысы с тонущего корабля.

Многие брели с фронта пешком, спрятав в карман золотые погоны, переодевшись в рваную солдатскую шинель, робко озираясь на сторожевые пикеты по дорогам, обходя, точно воры, стороной станции, пересыльные пункты.

Были и такие, которых солдаты, слегка поколотив за прежние обиды и издевательства, просто выгнали с «миром» из полков, снабдили суточными, проходным свидетельством, пустили на все четыре стороны...

«Все пути ведут в Рим».

Все дороги с фронта ведут в ставку верховного главнокомандующего.

Вся эта золотопогонная масса «беженцев» хлынула под крыло Духонина в надежде найти у него прибежище и защиту, получить советы и указания. Ставка, как губка, впитывала в себя всех «униженных» и «оскорбленных» Октябрьской революцией, всех выбитых из обычной колеи военно-фронтовой жизни.

Но ставка сама была в агонии.

В день нашего приезда, когда воинские части, охранявшие ставку, «демобилизовали сами себя», Духонин отдал всем командирам без армии, которые его окружали, единственно возможный приказ:

— Спасайся, кто может...

Более расторопные кинулись врассыпную на Дон, на Кубань, в Оренбургские степи, подальше от центра, чтобы

укрыться там от нависшей красной напасти, выждать время и поднять верное старому укладу жизни казачество.

Остальные, растерявшиеся вконец и изверившиеся во всем, не имевшие денег на выезд, остались в Могилеве.

Укутались по теплым уютным квартирам, схоронились, как страусы в песок головой, отсиживались, полагаясь на милость победителей-большевиков: «авось не с'едят».

В каждом доме—офицеры, генералы, военные чиновники, их жены, любовницы, содержанки, денщики, ординарцы...

И куда делся прежний гонор и блеск?

Сжавшиеся в комочек, побледневшие, равнодушно глядят на матросов, которые с прибаутками переворачивают пуховики, подушки, перины, извлекают спрятанное оружие, патроны, ручные гранаты.

Некоторые обыски и разоружение воспринимают болезненно, как несмываемое оскорбление, как позор.

Сцена на главной улице:

Высокого, представительного генерала останавливает патруль.

— Ваши документы, генерал?

Надменное лицо с красивым римским носом становится еще надменнее. И полный подчеркнутого презрения жест.

— Извольте, господа солдаты.

Три солдатских головы склоняются над протянутым лоскутком бумаги. Три лба сведено в морщинах.

Прочли.

Возвращают.

— Будьте добры снять оружие, господин генерал.

На лице генерала взрыв негодования.

Нижняя, синяя от бритья челюсть предательски прыгает.

— Оружие? Но у меня нет казенного. Это пожалованное. Я награжден золотым оружием. Если угодно — вот документы, господа...

— Снимайте оружие, генерал. Ваши документы недействительны. У вас грамота царского правительства и правительства Керенского. Они недействительны. Понимаете? Революция не доверяет вам оружия. Извольте снять немедленно и передать его нам, не то...

Три штыка сомкнулись вокруг генерала, точно по команде.

Коротким и быстрым движением он обнажил свою фамильную гордость — «золотую саблю», переломил ее через колено, как сосновую лучину, и бросил к ногам онемевших солдат.

— Берите!..

Солдаты опускают штыки. Один бросается поднимать сломанную шашку.

*

Могилевские уголовники пользуясь временным безвластием в городе, начали грабежи, насилия. Ночью вырезали целую еврейскую семью.

Бандитам и грабителям об'явили террор.

Всех подозрительных оборванцев арестовали и выгнали за город.

— Идите, куда знаете. Воротитесь в город — к стенке поставим. Вот — бог, вот — порог.

У двух бродяг, с низкими лбами преступников, нашли в карманах награбленные золотые вещи. Вывели бродяг на запасный путь за станцию, пристрелили. Трупы снегом пушистым забросали, чтоб глаза не мозолили.

Порядок в городе восстановился.

*

Получили лаконическое сообщение.

«Генерал Корнилов бежал из-под ареста. Текинцы, охранявшие генерала, вместе с ним бежали».

Всех охватило возмущение. Густым хмелем ударила злоба.

Особенно неистовствуют матросы.

У теплушки, где сидел арестованный Духонин, колышется, одержимая злобой, большая толпа.

В мутной реке серых солдатских шинелей поплавками ныряют черные, перевитые георгиевской лентой, матросские фуражки.

— Корнилов убежал, и этот убежит не сегодня — завтра!

— Даешь сюда Духонина!

— Да-еешь, чорт возьми!

— Сами рассудим, здесь на месте!

— Раз-раз и в дамки, ваше превосходительство!..

Часовые у генеральского вагона безмолвствуют, как изваяния.

Напирая на часовых, «активисты» из толпы вызывающе спрашивают:

— Кого охраняете?

— Кто вас поставил мерзнуть на часах у этого гада?

— Тут, може, никакого Духонина нет? Пустой вагон стережете. Генералы — они хитрые. Хитрее кикиморы.

— Открывай вагон, чего там!.. Не убьем, все равно убежит.

Часовые (фронтовики-солдаты нашего батальона) троекратно кричат толпе:

— Разойдись.

Но толпа все увеличивается и напирает.

Часовые — наизготовку. Предостерегающе щелкнули затворы. Толпа вздрагивает, отливает на несколько шагов назад.

Летят ругательства.

— Ах, вы, паршивцы эдакие!..

— Вы по своим стрелять, да?

— Золотопогоннику продались?

— Духонинскую шкуру отстаиваете?

— Сколь он вам заплатил?

Ежатся, бледнеют часовые от незаслуженной обиды. Оскорби кто-нибудь другой — на месте смерть. А тут свои. Как стрелять по ним?

Такая незадача!

Экзальтированные матросы из толпы отстегивают кобуры наганов, собираясь не то «попужать», не то «в сам деле» стрелять в несговорчивых часовых.

— Снимайтесь с поста, лешаки лопоухие! Честью...

У некоторых просыпается на минутку благоразумие, защищают часовых.

— У них устав. По уставу не могут они Духонина выдать без приказа начальства. Часовой — лицо неприкосновенное. Троньте их — всем амба.

Матросы не уступают.

Пахнет крупным скандалом.

Кто-то бежит на станцию, звонит Н. В. Крыленко.

Фыркая и вздувая снежную пыль, подлетел к вагону защитный мотор главковерха.

Машину вмиг окружили со всех сторон и замерли в настороженном любопытстве.

Главковерх открыл с машины импровизированный митинг.

— Товарищи-солдаты!.. Нехорошее дело затеяли вы. Духонин — враг советов, враг революции, но на самосуд вам я его выдать не могу. Самосуд — это гнусная расправа, от которой с негодованием отвернется всякий честный революционер!

Главковерх говорит так просто и ясно. Голос негромкий, но звучит достаточно отчетливо и проникает в самые дальние ряды.

Слова, отскакивая от машины, булыжником прыгают по головам толпы и действуют отрезвляюще.

— Я завтра же отправлю генерала Духонина в Петроград, где он будет предан революционному суду и, надеюсь, получит по заслугам. Прошу успокоиться и разойтись.

Некоторые присмирели, но горячие головы еще ворчат. Они настаивают на своем. Они и Крыленко верят с оглядкой.

— Сам в золотых погонах. Хоть и говорится: «курица не птица, прапорщик — не офицер», но все же...

— Откройте вагон! — приказал главковерх караульному начальнику.

Широкая дверь с грохотом скользнула на роликах до отказа.

На самом краю платформы в рамке вагона со скрещенными на груди руками стоит бывший главковерх генерал Духонин.

Сквозь тонкие стенки вагона он слышал все переговоры.

Равнодушно-презрительным взглядом загнанного борзыми, сострученного охотниками волка оглядывает беспокойно мечущихся солдат и матросов.

Толпа опять наддала поближе к вагону. Сотни раскаленных тупым солдатским гневом зрачков впиваются в молчаливую генеральскую фигуру.

И в наступившей тишине, точно птица, вспорхнул удивленный возглас матроса:

— Молодой какой кровопивец, а уж генерал! Выслужился, гад!..

— Лет тридцати с небольшим, поди! — тотчас же подсказывает другой голос.

На них цыкают:

— Тише, вы!

Новый главковерх поднимается в вагон и становится рядом с бывшим главковерхом.

Только черные угольки — глаза, сверкающие угрюмо-сосредоточенной, тугой генеральской бессильной злобой — выдают его муки и волнения.

Неподвижно, как статуя, стоит Духонин.

— Товарищи! — говорит Н. В. Крыленко. — Духонин больше не генерал, я разжаловал его.

Коротким движением руки он срывает с бывшего главковерха золотые поблекшие, помятые погоны, и швыряет их к ногам толпы.

— Вот вам смотрите, товарищи!

Лавина шинелей и бушлатов на минуту замирает в восторженном реве: «ура».

И затем, ослабев от крика, разнобойно гудит, довольная «разжалованием».

— Правильно!

— Так его, товарищ Крыленко!

— Одобряем по всем пунктам...

Страсти как-будто улеглись. Облик раз'яренной толпы принимает мирный характер.

Злобные выкрики сменились добродушными шутками.

Маленький главковерх успокоенно идет в сопровождении высокого ад'ютанта к автомобилю. Пыля снегом, главковерх летит на послушно-легкой машине в свою ставку, где туго стянуты в узел все нервы лежащей в окопах армии.

Доволен, что укротил «мятеж», предотвратил расправу над пленником.

Темно-синие бушлаты и серые шинели провожают машину главковерха восторженным «ура».

Машут папахами.

— Да здравствует красный главковерх!

*

А через час у теплушки бывшего главковерха опять шмелиным роем гудит агрессивно настроенная толпа матросов и солдат. День уже кончается. Влажный холод сочится из-под снежных облаков. Жесткий напористый ветер, сея сумрак, мнет дыхание и щиплет раскрасневшиеся носы.

И закрываясь от ветра рупором ладони, протяжно кричат перетянутые ремнями бушлаты:

— Даешь Духонина!

— Да-еешь!..

— Чего там, Крыленко!.. Он сам офицер!

— Напирай, братишки, смелее!

Караульный начальник опять бросился на станцию телефонировать Крыленко.

Но часовые у вагона оказались уступчивее.

Матросы уже отбивают прикладами замок. Раскрывают полотно двери. Духонин, как и час тому назад, подходит к рамке вагона и, протянув к толпе руки, хочет что-то сказать.

Теперь он побледнел, и видно, как дергается в нервной дрожи бритая генеральская челюсть.

Матрос в косматой черной шапке проворно вскарабкался в вагон и, юркнув в «тыл» Духонину, с радостным рыком шарахнул его штыком.

Упругое сытое генеральское тело, как подрезанный колос, падает через борт вагона на снег, увлекая за собой и матроса с винтовкой.

Уже, должно быть, мертвого бьют прикладами, штыками, кортиками, пинают ногами.

Все обиды и оскорбления, вынесенные из недр старой армии, вымещают на этом последнем из могикан уходящего мира.

К месту происшествия опять прикатил автомобиль Крыленко.

Толпа встречает его наружным виноватым молчанием.

Но Духонину помощь не нужна...

Расстроенный Крыленко, махнув рукой, молча поворачивается и уезжает в ставку.

Сделав свое дело, толпа редеет и в угрюмом молчании расходится.

*

Духонин погиб на своем «посту», защищая грудью явно безнадежное дело, поддерживая своими плечами сгнившее, накренившееся, вот-вот готовое упасть здание.

Легкий толчок — без треска, без грохота рухнуло пережившее себя здание и сломало хребет самому Духонину. Не успел посторониться.

На остром шпиле белого домика, где была ставка Духонина, парусом вздулось красное знамя с золотыми буквами. Рвется вверх, как огромная птица, попавшая в силок. Красное знамя — символ труда и борьбы. Теперь — победы нового мира над старым.

Гибель Духонина — последний сокрушительный удар по старой армии. Стержень капиталистической России сломан. Не подняться ей больше никогда.

С дезорганизованного фронта самовольно снимаются и движутся «домой» целые роты, батальоны, полки, дивизионы, батареи...

Тучи пепельно-серой саранчи — конца-краю не видно.

Продают дорогой казенных лошадей, снаряжение, оружие... Делят «поровну» полковые запасы, полковые суммы, годами накопленные.

Идут, едут, ползут, расплываются грозно ревущим мутным потоком от начисто обглоданных, опустошенных прифронтовых равнин в необ'ятную ширь и глубь вздыбившейся, беспокойно мятущейся страны.

Докатился поток до железных дорог.

В один миг смял, слизнул весь годами установленный ритм движения. Все завертелось в клубе серой пыли.

Нет ни тарифов, ни сеток, ни расписаний, ни литеров; нет ни жестких, ни мягких вагонов — все сравнялось.

Прибывает на станцию издыхающий от бескормья обовшивевший полк.

В кабинет начальника дерзко врывается толпа встрепанных, голодных, оборванных людей с расширенными, беспокойно бегающими, полными ненависти и мрачного огня глазами.

— Кто здесь начальник станции?

— Что угодно, граждане?

— Гони нас без промедления сею минуту дальше.

— Путь занят, товарищи, не могу...

Яростно сжимаются обветренные, потрескавшиеся от морозов и грязи нервно дрожащие руки. Звенят приводимые в действие затворы карабинов, сухо щелкают взведенные курки наганов, браунингов, маузеров...

— Товарищи!.. Паровоз неисправен, нет топлива. Нет ни одного свободного машиниста!..

— В последний раз тебя, саботажник, спрашиваем: отправляешь дальше иль нет? Три минуты на покаяние души... Хочешь? Нет?! Тогда гони дальше — цел будешь. До другой партии, по крайней мере...

Разбитой клячонкой плетется из депо паровоз с полупотухшей топкой.

Раненым зверем стонет, скользя по запасным путям. Лязгая стальными челюстями маховиков, лениво подползает к гудящему роем эшелону. Резким толчком пробует сопротивляемость вереницы оледенелых, разбитых вагонов.

— Пошел! Пошел!

— Крути, Гаврюша!

Серые фигуры бегут по бокам вагонов, уцепились, тянут, подщелкивают...

— Сама пойдет!

— Даешь Россию!

И мчится поезд без огней по занесенному снегом, никем не расчищаемому пути.

Россия в дыму пожарищ.

Высоко в холодно-льдовое, хрустальное небо тянутся по ночам фонтаны золотисто-лиловых огненных брызг, столбы дыма.

В дымном мареве степи, леса.

Догорают «дворянские гнезда».

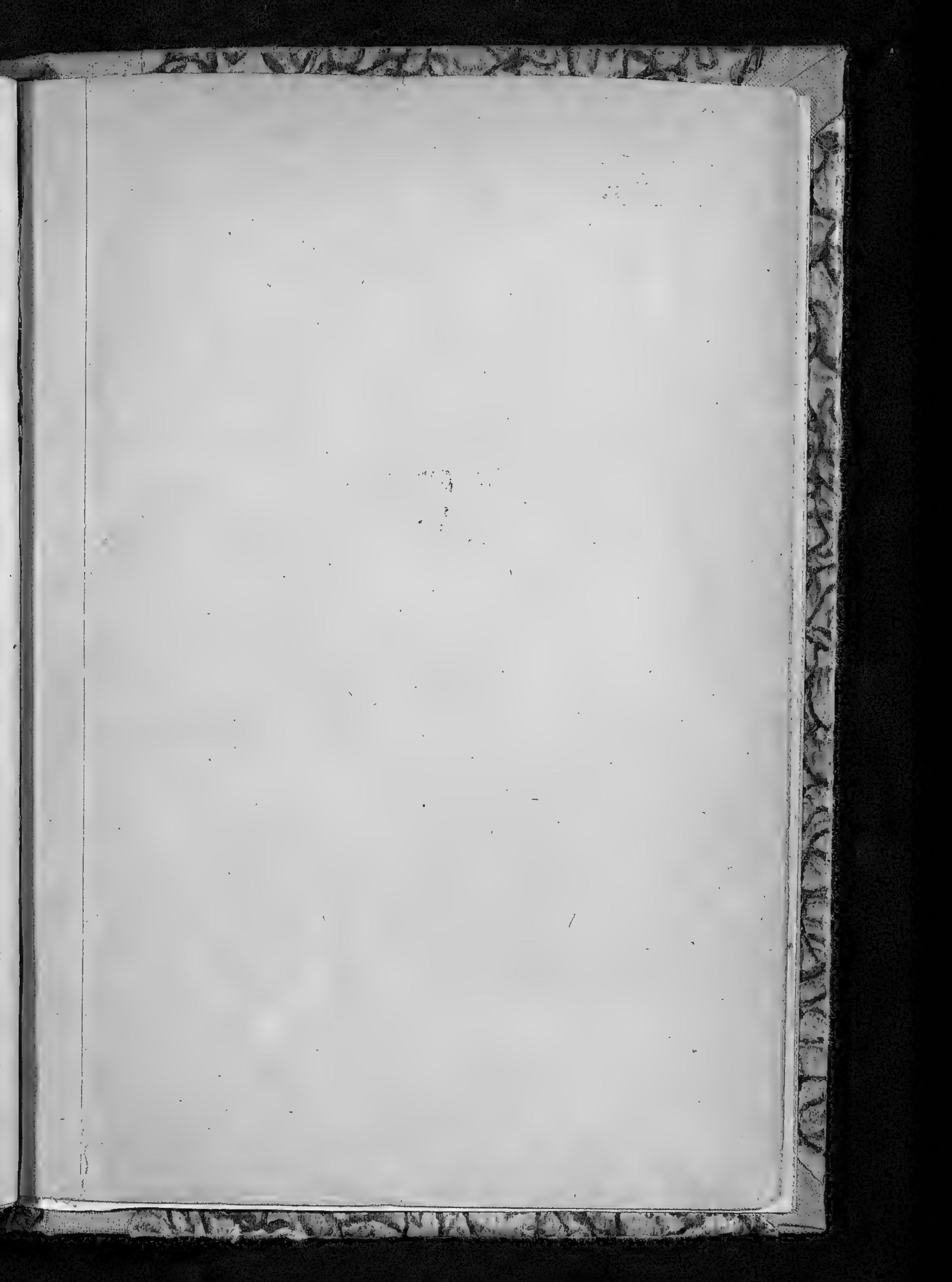
Под гуд и вой поземки рушатся и шипят головнями намозолившие мужикам глаза барские усадьбы, экономии, фермы, терема, виллы...

Мир хижинам — война дворцам!..

Гибнет старая Русь...

Рождается новая страна, страна Советов, яркий факел революционного переустройства мира.

Петербург—Могилев на Днепре.
Юго-западный фронт—
1914—1917 гг.



38660
2 р. 10 к.



